

Виктор
Меркушев



**ЗАМЕТКИ
АПОЛИТИЧНОГО**

Виктор Владимирович Меркушев

Заметки аполитичного

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30789982

Заметки аполитичного: Проза и публицистика. / Меркушев В.В.: Знакъ;

Санкт-Петербург; 2018

ISBN 978-5-91638-134-4

Аннотация

Сборник прозаических произведений, посвящённый проблемам взаимоотношения человека с окружающим миром и поискам возможности независимого существования в чуждой общественной среде, либо в состоянии отсутствия социальных связей и одиночества. Повествование не всегда ведётся от первого лица, но всегда от внутреннего «я» героя, заставляя читателя быть сопричастным к его мыслям и чувствам.

Содержание

| | |
|---|-----|
| I. «От первого лица» | 4 |
| Из московского дневника петербургского визионера | 4 |
| Город Солнца | 48 |
| Письмо с юга | 62 |
| О пейзажах вокруг и внутри нас | 75 |
| Море на книжной полке | 84 |
| Несколько слов о творчестве и счастье | 88 |
| Город у моря | 91 |
| На рубеже сна | 95 |
| Осенние розы | 97 |
| Чужая жизнь | 101 |
| Ключ | 103 |
| Эхо | 104 |
| Наяда | 105 |
| Конец года | 108 |
| Ностальгия | 110 |
| Жёлтое окно | 119 |
| Итальянские впечатления. Рим, Флоренция, Венеция | 128 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 167 |

Виктор Меркушев

Заметки аполитичного: Проза и публицистика

I. «От первого лица»

Из московского дневника петербургского визионера

Начиная эти записки, я менее всего хотел придать им форму дневника. Так уж случилось, что подобный способ изложения мыслей стал своеобразным литературным приложением к личности автора, и, если автор неизвестен читателю, то это обстоятельство может его отпугнуть; в то время как задача моих записок — сделать читателя своим попутчиком по городу, частичка которого есть в сердце каждого, кому привелось хотя бы однажды побывать в нём. Мне хочется вместе побродить по Москве и поспорить о том или другом и, хотя я не смогу услышать ответа, постараюсь его предвидеть и, возможно, изменить своё мнение о чём-либо. Для этого форма дневника подходит как нельзя лучше: дневник не предлага-

ет никакой идеи, лишь фиксирует весь спектр всевозможных впечатлений от увиденного и услышанного.

... В Москву я, против обыкновения, приехал ночью. Жаворонок по природе, я очень давно не видел ночи, пожалуй, с самого детства, когда забирался на крышу, чтобы разглядывать звёзды. Созерцание звёзд удивительным образом действует на человека, отвлекает от забот земли, её тяготения, приобщая к каким-то непонятным абсолютным истинам, доступным лишь подсознанию. Теперь я, как и большинство людей, редко смотрю на звёзды, порой, не смотрю даже себе под ноги, что уж, конечно, совершенно недопустимо.

И здесь, в Москве, мне вновь представилась возможность заглянуть в этот безбрежный небесный океан, усыпанный дрожащими огнями созвездий, у своего берега подсвеченный воспалённым городским горизонтом. Уходят эпохи, землю опутывают льды и снова тают, грозя новым вселенским потопом, а над поверхностью земли всё также серебрится шлейф Млечного Пути, тлеют расплывчатыми пятнами туманности и мерцают звёзды. Тысячу лет назад просвещённые арабы и греки так же смотрели на них и давали им свои поэтические названия, дошедшие до наших дней и нанесённые на все карты звёздного неба. В лукавом прищуре горит одна из самых заметных звёзд неба, Алголь – глаз дьявола; далёким северным маяком нависает над горизонтом вечный спутник Большой Медведицы – Полярная; и алмаз-

ной колючей россыпью застыла в бесконечной тёмно-синей глубине звёздная цепочка Плеяды, красивейшее созвездие неба, которое мы, как и наши далёкие предки, чаще называем загадочным словом – Стожары.

Как мне всегда его не хватало, этого бескрайнего вечно-го неба, бесчисленных звёзд, розовых и фиолетовых всполохов у горизонта! Это там, где-то на тверди эфира, существует точка опоры для нашей души. Душа сама найдёт её, нужно лишь пристально посмотреть вверх и обрести как благодать спокойствие и душевные силы. А так ли часто мы находим эти две-три минуты, возвращающие нам уверенность и желание жить. Прав был Кант, поражаясь звёздному небу как завораживающему феномену, способному бесконечно удивлять и преображать сознание. Сейчас, глядя на спокойное величие накрывшей огромный город ультрамариновой бездны, трудно себе представить, что рядом, в двух шагах от меня, разгорается своим мишурным блеском жутковатый карнавал ночи. Всё, ранее представленное в предсказуемых, определённых статусом и внутренним самоощущением величинах, приобретает значительную мнимую составляющую и становится тем, чем оно в действительности не является. К вещному, осязаемому значению приплюсовывается что-то зыбкое, неверное, взявшееся неведь откуда, цепляющееся за любое воплощение, любую сущность.

Конечно, на этом празднике я запоздалый гость, гость во многом случайный, но и для меня выстроившиеся в линей-

ку дома надели сверкающие одежды из цветных гирлянд и реклам, короны из рубиновых звёзд и красных габаритных огней; и для меня тоже по улицам и площадям расставлены огромные белые и жёлтые цветы на фонарных причудливых стеблях, и весь город засыпан стальным серпантинном сверкающих проводов. И как бы ни манил своим притворным величием этот влекущий праздник, любые бравадные трубы и фанфары звенят фальшивыми нотами и в любой обращённой к тебе восторженной речи есть что-то лживое и ненастоящее. Но так ли мы всегда хотим созерцать правду, если любую неопределённость воспринимаем как отложенную возможность, обращённую в будущее и, подобно Томасу Гарвею, пытаемся искать среди бессмыслицы и случайностей свою единственную Биче Сениэль, прекрасно осознавая, что найти её там невозможно.

... Московские электрички – это совершенно особая история. В Питере ты садишься в вагон, и уже через десять минут мимо тебя мелькают бескрайние поля, болота, дачные вагончики и редкий, заросший низким кустарником карельский лес. Московские же электрички – это прекрасный способ посмотреть город. И, надо заметить, что от такого путешествия получаешь несколько иные впечатления, нежели от автобусной экскурсии или пешей прогулки.

Дело в том, что ты, как наблюдатель, оказываешься на уровне второго или третьего этажа, и обзор вбирает в себя

более глубокие городские планы. Оказываются доступными для обозрения различные огороженные территории, строительные площадки и внутренние дворики малоэтажной застройки. А минимальная вовлечённость позволяет непредвзято относиться к увиденному. Глаз путешественника всегда отметит нечто особенное, что-нибудь непривычное и необычное для себя.

Первое, чему не перестаёшь удивляться, так это тому, с какой лёгкостью переплелись между собой различные эпохи и стили, не только не мешая, но оттеняя и дополняя друг друга. Второй общей особенностью городской среды, безусловно, является рельеф – холмистый, рябой от белёсой глинистой земли, по которой то тут, то там протянулись зелёные жилки цветущей воды.

Меня никогда не вдохновляла эстетика новостроек и не впечатляла смелость конструктивистских идей, но столичная застройка подкупает какой-то многослойностью, каким-то нехарактерным для питерского хайтека вторым планом. Отдельным сооружениям я так и не сумел найти рационального объяснения. Особенно мне приглянулись две громадные металлические конструкции, вырастающие из бетонного цилиндрического объёма, похожие на блестящие тычинки огромного каменного цветка.

Пока я размышлял о том, как бы всё это могло выглядеть в вечернее время, когда на первый план выходит самое эффективное начало, формирующее восприятие среды – освеще-

щение, я почувствовал на себе взгляд, не пристальный, пронзительный, клейкий, а так, скорее легко царапающий, почти безразличный.

Меня разглядывали две пожилые женщины, определённо нашедшие во мне чудака. Мой этюдник, сопровождающий меня повсюду, неизменно привлекает ненужное внимание, а спрятать его в сумку получается не всегда, особенно, когда с собой ещё куча вещей, которые невозможно таскать, перекинув через плечо.

В свою очередь, разглядывая изучавших меня, я обнаружил интересную закономерность облика москвичей – это безусловное желание казаться, нежели желание быть. В этом, конечно же, нет ничего предосудительного, тем более, что незнакомые люди выстраивают своё отношение к вам именно по создаваемому впечатлению и любой человек тут сам себе режиссёр.

Помню, как однажды в детстве, приехав на Украину и очутившись на городском рынке, я обратил внимание на то, что почти все немолодые мужчины одеты в серые короткие пиджаки, а пожилые женщины в коричневые платки и плюшевые пальто. Оказавшись там же через тридцать лет, я вновь обнаружил те же серые пиджаки и плюшевые пальто, словно эта одежда переходила по наследству от отца к сыну, от матери к дочери. Немногим разнятся от этих людей и питерцы: в каждой петербурженке есть что-то от легендарной покровительницы нашего города – Блаженной Ксении, ценив-

шей лишь то, что можно увидеть только духовным зрением, а в каждом нашем петербуржце сидит маленький Александр III, самолично чинивший себе сапоги. Мы всегда чего-то инфантильно ждём, надеемся на случай, на следующий раз. Как будто придёт другое время или наступит другая жизнь. Не наступит... Надо жить «здесь и сейчас», как, безусловно, эти две женщины напротив, явно стремящиеся быть привлекательными и стремящиеся находить интерес в том, что их окружает и что дано в настоящую минуту. В этих хорошо одетых и равнодушных к своей внешности женщинах явно чувствуется вовлечённость в активную полноценную жизнь, лишённую обочины сторонней созерцательности. Быть, находиться в настоящем, иметь этакое здоровое эгоистическое начало, вытесняющее всевозможные комплексы, всегда отличало столичных жителей от петербургских антиподов, чреватых потрясениями и грезящими революциями.

Как-то мне попала на глаза гравюра девятнадцатого века «Петербургские типы». Рассматривая её, я среди представленных типажей узнал и Раскольникову, и Сатину, и Сонечку Мармеладову, и Башмачкина. Конечно, персонажи Гиляровского тоже могут быть представлены не менее красноречиво в этом отношении, но всё-таки в них нет этой болезненности, изломанности, а чаще всего присутствует что-то по-купечески простое, предлагающее задержать взгляд, обратить внимание, выбрать, наконец. Недаром за Москвой на

долгое время утвердилась слава ярмарки невест. Сейчас, когда всё перепуталось, в Петербурге всё равно чаще встретишь созерцателя и визионера, а в Москве – делового и уверенного в себе человека. Под стать жителям и архитектура. Речь даже не столько о купеческой Москве и дворянском Петербурге, сколько об архитектуре городов в целом, которая никак не уместается в это тесное клише, условное, и не вполне объективное. Мои знакомые подшучивают надо мной, когда я пытаюсь утверждать, что дух владельца влияет на восприятие архитектурного сооружения, меняя его судьбу и даже геометрию. Как пример укажу на дом Распутина на Гороховой. Вы его обнаружите среди остальных и безо всякого путеводителя. Бурые пятна времени, поплывшие по всему фасаду, ещё более заострили его мрачный и зловещий облик, а если подойти к дому поближе и заглянуть в тяжёлую въездную арку, то ваш взор остановят необъяснимые, разбухшие от вечной сырости чёрные стены. А дом, в котором жил Горький и некоторое время Александр Грин! Дом смотрится словно корабль, стоящий у пирса, с борта которого к нам, на берег, доносится чарующий мотив ожидания; он весь исполнен какой-то внутренней динамики, весь устремлён в Неведомое, куда-то в манящие дали, и ветер с залива слегка качает его бесчисленные мачты, притворившиеся антеннами. Или посмотрите на дом на Владимирском, которым некогда владели грузинские царевны: даже после отдельных переделок он, в особенности вечером, чем-то напо-

минает горную гряду, высящуюся над типовой застройкой позапрошлого века. Поэтому город для меня всегда живое существо и городские жители – его неотъемлемая часть. Но мои друзья только смеются надо мной, хотя, на мой взгляд, нет ничего несерьёзного в таком предположении.

Наблюдая из окна электрички мелькающие дома, глядя на своих случайных соседей, очевидно их населяющих, в стуке вагонных колёс я явственно различил ницшеанский рефрен, звучащий как жестокий приговор: «Люди не равны!». Я, собственно, всегда это знал, но никогда ещё это утверждение не казалось мне столь горьким и безнадёжным.

... Очень часто наш интерес к чему-либо бывает спровоцирован вещами отвлечёнными или почти случайными. Своё самое первое представление о Москве я составил на основе сказок Вениамина Каверина и в дальнейшем уже невольно сравнивал реально увиденное с образами из прочитанной книжки. Конечно, в Москве никогда не было улицы «Столовая Ложка» или аптеки с названием «Голубые шары», но что-то знакомое проступало в синих вечерних двориках, тротуарах в оранжевых пятнах света, жёлтых окнах на чёрном фасадном глянце... Во всяком случае, в то время, когда я, будучи студентом «Мухинки», приезжал в столицу на выходные из Ленинграда, меня манила не только каверинская Москва солнечных шестидесятых, но и тот город, который не умещался на крошечной сказочной территории.

Существуют многочисленные свидетельства современников, что свойственный тому времени архитектурный минимализм располагал к себе прежде всего обращённостью к человеку, его удобству, комфорту, душевному комфорту в том числе. Помню, как радовали меня разноцветные стены помещений, светлые фойе, бесчисленные окна, простые формы, лишённые как замысловатого декора, так и того высокомерного превосходства, которое отличало архитектуру сталинского времени. Что-то было во всей этой наивной эстетике очень понятное, близкое, по-настоящему доброе, без равнодушного холодка отчуждения, свойственного иным стилям, иным предметам, иным образцам. И неудивительно — это было время поэзии и в литературе, и в музыке, и, конечно, в архитектуре. Меня всегда интересовало это время, его приметы, его свершения, его люди. Возможно, оттого, что я невольно коснулся этого времени самым тонким краем своей жизни.

Но ничего не бывает надолго и, тем паче, навсегда. И в жизни человека, и в жизни города. Нет уже не только каверинской Москвы, нет уже и той страны, где жили его замечательные герои, честные и счастливые, независимые и красивые. А над некогда светлыми строениями солнечного города, теперь презрительно именуемыми хрущёбами, нависла угроза окончательного исчезновения.

Что ж, как некогда сказал Александр Сергеевич: «Всему пора!». Все мы когда-то были счастливы, только не знали об

этом. А, может, дело было в особом состоянии среды вокруг нас, попадая в которую неизбежно проникаешься её настроением, заряжаешься её энергией, подчиняешься её воле. Или работала никем пока не опровергнутая формула «линейного счастья» от братьев Стругацких: счастливый человек может то, что хочет, а хочет того, что может.

Мне думается, что стремление к счастью неизбежно обречено на отрицательный результат. Поиск счастья равносителен поиску клада, который никогда не даётся в руки ищущему.

Как-то я, будучи подростком, вместе с местными мальчишками загонял шук и линей в наш самопальный бредень на одной из маленьких речушек, впадающих в Днепр. Рыб попадалось мало, а вот щипалок, так на Украине называют тритонов, всё время приходилось брезгливо вытряхивать обратно в водоём. Неожиданно один из нас заметил в сетке несколько тёмных пластинок неправильной формы, похожих на рыбу чешую. Какое было наше удивление, когда пластинки оказались старинными серебряными монетами. Не помню, куда они впоследствии делись, но уже в тот же день десятки людей, вооружившись дырявыми тазиками и ситами, «мыли» речной ил и песок. Надо ли говорить о том, что никто ничего не нашёл, кроме пары-тройки глиняных черепков, бесплатно очистив дно и усеяв весь берег чёрной тиной, в которой сосредоточились тучи мошкар. Так случается со всем неоправданно многообещающим: чем больше желание, тем меньше шансов для обретения желаемого. Так и со сча-

ством. Как тут не вспомнить нашего замечательного поэта, писавшего:

Я люблю вас, люди-человеки,
И стремленье к счастью вам прощу.
Я теперь счастливым стал навеки,
Потому что счастья не ищу.

А все эти каверинские садоводы и аптекари, вожатые и трубочисты были счастливы, хотя и не имели за собой ничего, о чём мечтают сейчас их практичные внуки.

Мне рассказывала бабушка, как она со своими сверстницами в начале тридцатых устраивала «ситцевые балы». Стоит ли напоминать, что ни у кого из них не было бальных платьев, но балы были, было много радости и веселья, была даже «королева ситцевого бала».

Из какого всё-таки странного и противоречивого мира мы пришли, мы, сверстники Тани и Петьки, моих любимых героев детства, придуманных и воплотившихся, подобно нашему миру, возникшему из мечты и рассыпавшемуся, как эскорт Золушки, поскольку не может не рассыпаться в прах всё то, что создано вопреки природе. До сих пор, видимо, не могу привыкнуть, что изменились вокруг меня и страна, и мир, если всё ещё наивно полагаю, что добро обязательно сильнее зла, и не потому, что у него тяжёлые кулаки и крепкие зубы, как это сегодня внушается неооптимистам, а просто потому, что осталась привычка этому верить.

Раньше, гуляя по Москве, я всегда выбирал случайные маршруты, садился в подвернувшиеся трамваи и троллейбусы и обычно размещался где-нибудь неподалёку от водителя, чтобы иметь хороший обзор. А выходил там, где обнаруживал что-то интересное для себя. Но на этот раз я путешествовал больше пешком, поскольку не находил знакомых маршрутов и счёл более удобным не участвовать в плотном и медленном транспортном потоке. Я шагал по тротуарам, хотя и на них было такое же двустороннее автомобильное движение, заставляющее редких пешеходов робко прижиматься к зданиям или идти по вытоптанным газонам.

И всякий раз, встречая на своём пути утлые клетчатые пятиэтажки, я подолгу разглядывал у них на крышах ставшие уже ненужными трубы, проволочные антенны; будки, обитые серой жестью, обычно зависающие на самом краю; и старые оконные переплёты, за которыми вполне могли жить те, к кому я мог бы запросто зайти как к хорошим знакомым.

... Считается, что Москва не столь интересна своими пригородами, особенно, если сравнивать её в этом отношении с Санкт-Петербургом.

С таким утверждением, пожалуй, можно бы согласиться, если рассматривать пригород как естественное продолжение города. При этом предполагается, что и город и пригород имеют одну градостроительную идею, в случае пригорода, правда, выраженную не столь жёстко; единые принципы ор-

ганизации и общие целевые установки. Но если понимать под пригородом зону с иной логикой формирования и развития, в которой, как правило, осуществляются варианты противоположные или нереализуемые в городской среде, то может оказаться, что московские пригороды не менее интересны, нежели петербургские.

Основная идея Петербурга, его смысловая доминанта очень слабо связана с почвой, в прямом и переносном смысле. Москва – гораздо более русский город, получивший в наследство традиции Византии и подверженный сильнейшему влиянию Азии. Но как бы мы ни определяли характер города, всё равно это будет сильным упрощением. А о характере города говорить более чем уместно, несмотря на то, что речь идёт не о живом существе, хотя Даниил Андреев так не считал, полагая, что выраженные сущности стран и городов имеют не только характер, но и обладают всеми качествами живой материи. Как бы там оно ни было, но моему сердцу всегда милее пригород и не из-за ностальгических ощущений бывшего провинциала, а просто пригород ассоциируется у меня со светом звезды, который наблюдатель застывает в пространстве. Как летящий луч несёт информацию о небесном объекте многомиллионной давности, так и пригород для внимательного созерцателя даёт представление о городском прошлом. Кому-то подобное сравнение может не понравиться, однако моя аналогия не несёт в себе никакого отрицательного оттенка.

В качестве московского пригорода я избрал город Троицк, расположенный на берегу живописной реки Десны. Да, это про неё поётся в «Подмосковных вечерах», и на её берегу существует скамейка, с которой связана легенда, что именно на ней и была написана знаменитая песня. Так ли это – уже совершенно неважно, но местечко там и впрямь заслуживающее внимания, и вовсе не потому, что здесь расположена небезызвестная Жуковка, коттеджный посёлок для сверхбогатых, а оттого, что в этих, исключительных по красоте местах, сохранился в неприкосновенности замечательный островок сталинского ампира.

Территория по берегам реки, начиная от камвольной фабрики, изначально застраивалась как парковая зона, поскольку населена совершенно неутилитарными строениями, не годными ни к какому рациональному использованию, но обозначающими выделенное пространство как предназначенное исключительно для отдыха трудящихся. Все эти мощные каменные беседки-ротонды с отсутствующими скамейками или бетонированные площадки, окружённые цементными оградками с аляповатыми фигурными балясинами, указывают на это. Кроме того, Десна, петляющая в этой части своего течения, перегорожена всевозможными мостиками, обустроена лестницами и смотровыми площадками. Ну а поднявшись выше, можно попасть прямо на стадион, сооружённый, судя по трибунам, в те же приснопамятные тридцатые.

Очевидно, по замыслу создателей предполагалось, что человек после рабочей смены, пройдёт по парку, постоит в круглом пространстве беседки, глянет в перспективу реки и скажет: «Хорошо жить в Советской стране!». Или пойдёт от проходной, минуя замысловатые спуски и подъёмы псевдоклассических ландшафтных построений, прямёхонько на стадион пробежать там кружок-другой и размять руки-ноги после монотонного и однообразного труда. А за стадионом, белыми замками мечты, высятся корпуса санатория и пионерлагеря, превращённого в настоящее время в детское лечебное заведение.

Наверное, нельзя сказать, что сев в Тёплом Стане на маршрутку и доехав до «Микрорайона Б» города Троицка, мы таким образом перемещаемся непосредственно во время, отмеченное трудовым энтузиазмом, парадами физкультурников и беззаботных лодочных прогулок, предвосхищавших перманентный производственный подвиг. Очевидно, что время основательно «поработало» над этой площадкой, зачернив беседки паутиной граффити, разложив и полуразрушив цементные изваяния и сооружения, раскрошив ступени и проржавив мосты.

Но, несмотря на утраты и разрушения, островок сталинского благолепия не много потерял в своём олимпийском величии. По-прежнему исполнены торжественного спокойствия широкие мраморные ступени и полны уверенности и силы цепкие руки мостов. Кстати о мостах.

Время совершенно не пощадило их металлическую плоть, а тоненькую кожицу серебрянки, сильно потускневшую и растрескавшуюся, сплошь покрыли бурые старческие пятна ржавчины; болты и заклёпки взбухли пластинчатым лишаем окислов, а стальные тросы висячего моста стали напоминать песчаные верёвки, которые удалось сплести, согласно древней легенде, одной из китайских принцесс.

Разместившись в центре этого моста, который чувствительно осел под моей тяжестью, я смог внимательно рассматривать всю прилегающую территорию, начиная от оживлённого Калужского шоссе до строящихся многоэтажек, застывших, словно синие исполинские сваи, в поддержке голубого массива тяжёлого неба. А небесный свод, заселённый стаями галок, мерцающими бабочками, парящими стрекозами и сцементированный у своего основания пылью и млечным фиолетовым смогом, казалось, не замечал всего этого спуда, лучась атласным гляncем и бодрящей свежестью.

Правый берег навалился на мост блестящим густым ивняком и петлял оранжевыми тропинками косогора. Левый, изрезанный кирпичными оградами особняков, казался полностью безлюдным, поскольку не подавал никаких признаков жизни; не было слышно ни лая собак, ни шума вездесущих машин. Правда, откуда-то издалека тянуло пряным берёзовым дымом, и ветер стучал верёвками и арматурой о невидимый металлический флагшток.

А внизу через прозрачное окно в желтоватой ряске были

видны стайки рыб, которые, поднимаясь к поверхности воды, тревожили её невозмутимость лёгкой ажурной рябью.

Рыбки, изящно изгибаясь тёмными спинками, выбрасывали вверх свои серебристые головы, хватая сухой и горячий воздух, бессмысленно оглядывая враждебный и непонятный человеческий мир. Вот воистину прекрасная Аркадия подводного царства! Не знать, не думать, не помнить. Ведь не они, а человек запутал свою среду лабиринтами сооружений, лабиринтами условностей и предписаний, лабиринтами своих заблуждений и чужих мнений. И потерялся в них, мечтая выбраться из собственных построений как о счастье. А счастье вот: резвиться под обманчивым солнцем, не грустить над обманчивым прошлым, не томиться обманчивым будущим, не оставлять в этом обманчивом мире никакого следа, кроме мгновенной, затейливой ряби на зыбкой поверхности бытия.

Но нет, оставим этот праздник полотнам Пуссена, где в цветущих кущах среди ручьёв и камней веселятся розовые нимфы и смуглые сатиры, и торжественный зной поднимается от горячей земли в безразличное небо.

А для нас всё исполнено значения и смысла, всё обозначает и намечает грядущую цель. Вот и я приглядываюсь к группе деревьев над водой, выстраивая композиционное решение для будущего пейзажа. Зачем? Это трудно объяснить. Что-то будоражит ум и волнует сердце, возможно, сознание того, что в бесшабашном веселье призрачной Аркадии те-

бе не будет места, хотя нет, скорее меня призывает наша общая человеческая миссия, заключающаяся в усложнении материи всеми доступными способами, однако и это, наверное, обман; и, невзирая на наставление Карамзина, призывавшего заблуждаться счастливо, приходится обманываться самым неподобающим образом, раскладывая краски на палитре и устанавливая на берегу свой старый этюдник.

Казалось бы, мелкое, незначительное событие и не стоило бы его выделять особо, но человеческое пространство так устроено, что когда нет ярких, интересных событий, таковыми становятся события и впечатления из второго, даже третьего ряда. Меня очень поразила пронзительная тишина, на фоне которой переключка уток кажется чем-то особенным, заставляющим заворуженно вслушиваться в их низкие стелющиеся по земле и воде голоса. Поражает сырая трава, ярко зелёная и густая, которая выросла почти без солнца, ибо возшла под ворохами хвороста, который был свален здесь ещё во время «оно». Кузнечики, взрывающие воздух своими дребезжащими трелями; пчела, оставившая на атласе бутона выюнка красноватый след пыльцы; блестящий ярко-зелёный жучок, забуксовавший в мелком песке...

Хотя, какие события стоит считать важными, какими впечатлениями позволительно пренебречь? Этот вопрос озадачивает, если над ним серьёзно задуматься. Помню, что привело меня сюда, в Троицк, такое обстоятельство, на которое иной и не обратил бы внимания. Выходя из Палеонтологи-

ческого музея, расположенного на самой окраине Москвы, прямо невдалеке от автобусной остановки, я заметил группу берёз с совершенно замысловатыми по своей форме стволами, не говоря уже о том, что они ослепительно горели в июльском солнце красной медью, местами переливаясь вкраплениями золотистой бронзы. Разглядывая диковинные растения, я упустил автобус и затем долго слонялся и отдыхал на бетонной лавочке в ожидании следующего, досконально изучив транспортную схему, увенчанную странным названием «Микрорайон Б». Что за «Микрорайон Б»? В той стороне только бескрайние поля и синяя полоска леса на горизонте. Но, может быть, он затаился далеко-далеко, «за лесами, за долами»?

Мне почему-то вспомнился эпизод, когда приходилось возвращаться с далёкого северного острова, минуя сотни километров абсолютного безлюдья, через ледяные торосы, вечные туманы Кильдинского пролива, гористое побережье Арктики, засыпанное фиолетовым снегом. И вдруг, среди этой безжизненной пустыни – посёлок Вьюжный, переливающийся цветными огнями, искрящийся жёлтыми горящими глыбами многоэтажек, зависшими над чернеющими скалами Хибин.

За долгие годы у меня выработался очень простой критерий успешности той или иной поездки, выражающийся в количестве написанных работ. Хотя в последнее время я стал дольше работать над полотном, ибо, чем больше и внима-

тельное вглядываешься в натуру, тем сильнее натура захватывает тебя, гипнотизирует, подчиняет себе. Как там написано у Ницше? Кажется: «Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреться в тебя». А у неё взгляд дракона, которому, если верить Толкиену, лучше не глядеть в глаза.

В Троицке я написал очень немного. Подмосковье – это, конечно, совсем не Москва, ни по характеру, ни по наружности, ни по желанию выдать себя за что-нибудь другое. Здесь можно быть деятельным, но совсем не для того придуманы эти великолепнейшие места, усыпанные санаториями и домами отдыха. И я больше бродил по заросшим берегам Десны и, подобно древнекитайским живописцам, занимался созерцанием, рисуя на свитках воображения «остриём мысли».

Кто-нибудь скажет, что такие картины рассыпаются даже от вздрагивания век или случайного соприкосновения образов. Но разве не умирают холсты и не осыпаются краски? Разница лишь в том, сколько чему отпущено и сколько людей об этом когда-нибудь позабудет. Вспомните наставление Карамзина и завораживающие узоры на поверхности воды, оставляемые игрой серебристых рыб – обманываться необходимо, пребывая в радости.

... Дома тёмной охры, дома с высокими окнами, тяжёлыми проёмами и крупным рустом первых этажей. В парадном – тусклая облезлая лампочка в потолке; стены, выкрашенные зелёной масляной краской; какие-то люки, кафель пола, за-

решённый ход в подвальное помещение...

Всякий раз, оказываясь в так называемых «сталинках», я будто бы проживаю иную жизнь или смутно припоминаю предыдущую. Мою холерическую и деятельную натуру замечает невнятная, робкая и меланхолическая личность, склонная к бесконечной созерцательности. Начинают что-то шептать на своём скрипучем наречии дверные петли, громко ругаться разошедшиеся форточки, раскачиваемые душными сквозняками, и вести свой счёт неизвестно чему где-то капаящая вода.

Здесь всё готово говорить со мной, но я ничего не понимаю в этом жалобном и многоголосом хоре. И на меня накатывается та же болезнь, которой страдал несчастный булгаковский Мастер. А мне стало особенно важно что-нибудь подсмотреть его глазами, особенно после того, как я начал иллюстрировать это своё любимое литературное произведение.

Нельзя сказать, что здесь остановилось время; время не останавливается никогда, оно стремительно бежит – стоять на месте может лишь его долгая и мучительная тень. Первый раз я навестил «нехорошую квартиру № 50» лет десять назад: я поднимался по крутым ступеням наверх, ощущая себя одновременно и буфетчиком злосчастного Варьете и экономистом-плановиком Поплавским. Было пустынно и гулко, единственным из ожидаемых звуков мог стать лязг ключей и стук поставленного на цемент пола Аннушкиного би-

дона. Пробивавшийся сквозь грязные стёкла солнечный свет перебирал в своих лучах серебристые пылинки, рисующие в воздухе замысловатые фигуры на фоне мутноватых окон, потерявших свою отдельность от стен, поскольку сами окна росли потемневшими рамами в унылый тёмно-зелёный монолит и стали почти неразличимы. Лишь оконные шпингалеты несли на себе отпечаток борьбы с участью намертво увязнуть в бурой краске подоконников. Собственно, стены могли и не заметить прошедшего полувека, не будь сплошь исписаны цитатами из знаменитого романа. Да и массивная дверь 50-ой квартиры из цельного стального листа не могла быть свидетельницей пребывания здесь Воланда и его свиты, как и всех прочих героев и действующих лиц, побывавших на лестничной клетке последнего этажа.

Глядя на соседние дома в окошко, из которого в своё время вылетел «гипнозом Коровьева» Алоизий Могарыч и Николай Иванович, я думал о том, что этого романа не могло не быть, в противном случае всем нам пришлось бы состояться как-нибудь иначе и не было бы ни Патриарших, ни Воробьёвых Гор, ни Садовой, ни Малой Бронной. Не было бы ни Торгсина, ни театра Варьете – «ничего бы не было!» «Уй, гражданин, – скажет мне кто-нибудь голосом “ихнего помощника”, -натурально, вы не понимаете. Вон сколько вокруг людей, не читавших этого романа!». И верно: смотрю я на близлежащие дома с высокого этажа дома 302-бис по Садовой и представляю в каждом окне по человеку, так и не

открывшему для себя «Мастера».

Да ведь и меня когда-то не занимал Булгаков, мне было интересно гонять мяч во дворе и зачитываться сказками. Правда, «я» тогда ещё не был, но мечтал им стать. Всё необходимое для этого представлялось мне белыми островами, которые ждут меня и которые мне предстоит открыть. Одним из этих островов был, несомненно, и булгаковский роман. Хорошее было время! По-правде говоря, наша душа никогда не озабочена тем, чтобы как-то состояться и никогда не примеривает на себя одежды счастливчика или неудачника — она попросту есть и единственно чем подпитывается, так это нашими чувствами. А они, в пору ранней юности, с сильным акцентом Несбывшегося, которое чаще всего окрашено в зелёные цвета надежды, дарящей нам гораздо больше, нежели всё то, что уже свершилось.

Свершившееся приходит, подобно бою Курантов в Новогоднюю ночь, лишая праздник всего его очарования и волшебства. Да, все кричат «ура», ободряют себя и других звоном бокалов и огнями фейерверков, но из души уходит волнующее состояние ожидания, которое никогда не похоже на то, что мы будем иметь впоследствии. И нас настигает растерянность и усталость, и вот мы уже почти осязаемо предчувствуем горьковатый привкус разочарования. Сожаление связывает разум, заставляя вспомнить Экклезиаста.

Но тем и хорош роман Булгакова, что он ничего не обещает, он дарит, очеловечивая даже то, что можно принять и

достичь лишь при помощи умного и доброго булгаковского слова.

Булгакова невозможно читать без оглядки на свою собственную жизнь, поскольку кажется, что всё написанное касается непосредственно тебя, твоего прошлого и настоящего, представляющего не только непротиворечивым, но и исполненным сокрытого смысла и значения. Для Булгакова нет второстепенных людей, его пространство притягивает траекторию любой жизни, особенно находящейся на периферии состоятельности и успеха.

Сколько раз я открывал эту книгу и всегда находил в ней слова, адресованные исключительно мне и сказанные именно тогда, когда я более всего в них нуждался. Может быть, в этом и заключён талант писателя? Тогда любые формальные критерии не имеют никакого значения и важен лишь этот, непостижимый для аналитики путь от сердца к сердцу. Булгаков помирил меня со многим, что я не принимал и не хотел понимать. Да, мы очень часто не любим то, чего не знаем, что не вписывается в нашу картину мира, расширить которую, обычно, не имеем никакого желания. А зря. Хотя на этот счёт имеются и другие, более авторитетные, мнения.

Но вернёмся на Садовую и постараемся повторить путь какого-нибудь посыльного из театра Варьете. Увы, внутренний дворик булгаковского дома огородили чугунными решётками, а со стороны улицы, на первом этаже, открылся мемориальный музей с многочисленными любопытнейши-

ми экспонатами, в большинстве своём являющимися предметами быта и домашней утварью того времени.

Моё появление в дверях заведения вызвало изрядный переполох у служителей, собравшихся немногочисленной стайкой в предбаннике музея. Очевидно, посетителей на данное время не планировалось, и молодые люди, исполняющие роль зрителей, нехотя растеклись по комнатам, включая в них свет и лампы витрин.

Быть единственным визитёром всегда плохо, ещё хуже, когда твой визит случается не вовремя. Собственно, весьма сложно понять, посещается музей или нет, может статься, что это и есть штатная ситуация и более двух посетителей одновременно здесь не собирается никогда.

Год назад я потратил немало времени, дабы обнаружить литературный музей в городе Сочи, а, обнаружив, приложил исключительную настойчивость и упорство, чтобы посетить его. Зато не было никаких проблем с дельфинарием, заказником, обезьянником и прочими подобными заведениями, но это уже совершенно иная история.

Мне доводилось бывать в Киеве, в доме Булгакова на Андреевском спуске. Возможно, там какая-то особенная аура, позволяющая любой детали возвращать тебя к прочитанному, а увиденному, подсмотренному и вдруг обнаружившемуся, порождать впечатления, так или иначе связанные с булгаковской «Белой гвардией».

Вы полагаете, что я испытал нечто подобное, когда бро-

дил по пустым комнатам новоиспечённого музея? Нимало. Хотя, нельзя сказать, что я не настраивался на соответствующую волну восприятия. Да, музей делали люди, любящие творчество Булгакова, люди, находящиеся под обаянием его великого романа, но нет ощущения, что всё это родом оттуда и как-то связано с его сюжетом и с его героями. Возможно, моё равнодушие от просмотра объясняется соединением моих завышенных ожиданий и моего личного, субъективного понимания, что в таких вещах имеет существенное значение.

Если даже взять крупнейшие московские музеи, то и в них не всегда удаётся получить необходимый эстетический импульс от увиденного. Я большой почитатель творчества Врубеля, но в своё первое посещение Третьяковки мне так и не удалось должным образом рассмотреть и оценить его монументальное панно, в то время как то же самое панно, исполненное в мозаике на фасаде гостиницы «Метрополь», заставило меня более получаса стоять на тротуаре, задрвав голову, вызывая раздражение и насмешки пешеходов, для которых я невольно превратился в помеху как слева, так и справа.

Большие музеи, в конце концов, выматывают даже самых стойких. Булгаковский музей не обладает таким свойством, поскольку осмотреть тщательным образом несколько небольших комнат хватит терпения у любого, даже у посетителя с синдромом рассеянного внимания. Поэтому, выйдя на улицу, мне не хотелось отдохнуть и переменить тему

и я пошёл на Патриаршие, чтобы посидеть на лавочке аллеи «под липами» и подумать над драматической и романтической историей жизни Михаила Булгакова и его знаменитого творения.

Было жарко и душно, почти так же, как и в тот незабываемый майский вечер, разве что только негде было выпить даже стакана «абрикосовой». Нет, если бы вновь Мессир решил пожаловать в город посмотреть на москвичей, он наверняка бы выбрал иное место. И дело даже не в многочисленных скульптурных группах персонажей из басен Крылова, начисто лишаящих это место своего метафизического измерения. Просто, при всём своём могуществе, Воланду не хватило бы сил, чтобы обеспечить хотя бы полчаса спокойной и неторопливой беседы, слишком шумными и хлопотливыми стали тенистые аллеи на Патриарших.

И только я хотел с чувством бывалого, прожившего на этом свете человека проговорить про себя известную формулу о том, что всё течёт и всё изменяется, как случайно встретился взглядом с каменным львом, застывшим зловещим горельефом в доме напротив, над розовым бельэтажем. Лев всматривался в меня своими упрямыми глазами, и мне почудилось, что «правый глаз у него был чёрный, а левый почему-то зелёный».

... Наверное, необходимо признаться самому себе, что поход на ВДНХ стал для меня обязательным ритуалом. Ни

один мой визит в Москву не обходился без такого посещения, но всякий раз, когда кто-нибудь, так или иначе, употребляет в своей речи эту аббревиатуру, перед моим внутренним взором сразу же возникают смутные образы из моего раннего детства, из того времени, когда я ещё не мечтал писать картины, даже не предполагал стать археологом, как в начальной школе, а все мои помыслы сводились к обретению лоснящейся от вара спецодежды и заветного дерматинового кресла водителя катка.

Тогда я ещё не знал, что такое народное хозяйство, во всяком случае, не имел на этот счёт каких-либо устойчивых представлений. Мне, окружённому со всех сторон белоснежными сказочными зданиями, вырастающими прямо из асфальта, частично скрытыми белыми пенящимися струями фонтанов, казалось, что я каким-то непостижимым образом оказался среди шахматных владений белого короля.

Е2 – Е4, и я на белой клетке перед рядом золотых фигур, над которыми высоко в небо вознёсся блестящий колос. А справа – алмазной королевской короной лучится ослепительный павильон «Узбекистан». Ну и, конечно, чего только нет у шахматного короля!

Конь В1 – С3, и дикий животные подходят совсем близко, вот они здесь, на расстоянии вытянутой руки. Огромные кони кривят свои чёрные губы и неприветливо косятся на меня сверху вниз. Свиньи, чудовищных размеров, неспособные стать на толстые короткие ножки, поднимают

на меня белые тяжёлые головы. А куры, пытаюсь перекричать друг друга, желают поведать о чем-то по-птичьи очень важном, о чём мы, люди, не имеем ни малейшего представления. На этой чёрной клетке пахнет тёплым сеном, и везде стоит острый запах весенней земли.

Слон FI – C4, и вот трап белого самолёта, стоящего на белом поле около необыкновенной ракеты, нацеленной куда-то ввысь, в небо. Рядом павильон космонавтики с фантастическим сферическим куполом, дольчатый, словно покрытый чешуёй дракона. Вообще-то, эта клетка непонятно какого цвета – мне вначале показалось, что она белая, но развернувшаяся изнутри карта звёздного неба испортила впечатление, несмотря на плывущие по ней стайки разноцветных огней, изображающих галактики и небесные тела...

Всё это разворачивается в памяти, стоит только завести об этом речь. Но что, собственно, такое ВДНХ? И названия такого больше нет, нет ни выставки, ни народного хозяйства. Так что же всё-таки случилось с владениями шахматного короля? Неужели пала и его империя? Хотя нет, вон и знакомые белые ворота, величественные и огромные, годные даже для прохода великанов. И клетки на своём месте, и золотые фигуры под немного потускневшим колосом.

Ну-ка, ладья Н2 – Н4! Однако, всё-таки что-то не так. Здесь больше не движутся фигуры, и нет никакой игры. Везде на истёршихся буквах, цифрах, на чёрных и белых клетках – расставлены пёстрые палатки и идёт бойкая торгов-

ля. Вот история: реальность, подобно чудовищному великану, вошла через белые ворота и развалилась своим грузным телом во владениях шахматного короля. Нет больше волшебной аберрации зрения, есть громадный многоголовый рынок, базар, московский аналог знаменитой «питерской Апрашки».

Я долго кружил по знакомым-незнакомым павильонам в надежде найти хоть какую-нибудь выставку, на что-нибудь посмотреть кроме посуды, носильных вещей и сувениров. И вот, наконец, уже на самом выходе, как привет от шахматного короля – выставка экзотических бабочек.

Не считаясь с ценами на посещение, надеваю бахилы, словно индульгенцию, протягиваю билет и вхожу во влажный, горячий воздух тропиков, устроенных между секцией велосипедов и бытовой техники.

Белые, синие, оранжевые бабочки разнообразных форм и размеров порхали по небольшому объёму, садясь на белоснежные стены, листья агавы и юкки, стебли папоротников, не обращая никакого внимания на людей. Бабочки шевелили крахмальными крыльями, на которых горели замысловатые рисунки – абстракции из райского сада. Воздух был настолько густым и плотным, что казался небесным эфиром, который почему-то считается твёрдым.

Вот так: хотел оказаться на территории волшебного королевства, а попал в Элизиум. И тут на объектив моего фотоаппарата села чёрная гигантская бабочка. Скажете случай-

ность? Но разве случайности бывают! Какого-то звена недовставало в той логической цепочке, которую я выстраивал в своём воображении вокруг шахматного королевства. И разве случайности не есть инструментарий необходимостей, реализуемых неотвратимо?

Поэтому приветствую тебя, чёрный ангел коммерческого Элизея, куда, в отличие от сказки, никогда не попадают Емели да Иванушки-дурачки, падкие на сады Жар-птицы и Тридесятые царства. Вход в Элизиум всегда должен быть оплачен и самая невысокая цена – это цена купленной индульгенции.

Вот и замкнулась моя логическая цепочка, приветствую тебя, бабочка, чёрный ферзь.

F2 – H1! Мат белому королю.

... Я не люблю машин. Но не злобой пешехода, который не в состоянии купить «Мерседес». Я считаю, что человеку автомобиль не нужен, даже как средство передвижения. Я люблю общественный транспорт: люблю, как любую рациональную идею.

«Опять начал свою любимую песню!» – воскликнут те, кто уже давно устал меня слушать. Ну, хорошо. Тогда я спою из неё всего лишь один куплет – куплет о московском метро.

Если сравнить наше московское метро с любым метрополитеном мира, то всякий, посвящённый в существо вопроса, скажет, что такой красоты и величия нет нигде. Да ина-

че и быть не могло: ведь строилось оно в тридцатые, когда по таким статьям как красота и величие государство не жалело никаких денег. И украшали огромные подземные залы разнообразными панно, мозаиками, скульптурами и барельефами лучшие советские художники и архитекторы. Нельзя здесь не упомянуть и рядовых метростроителей – героев того пролетарского времени, ведь это их усилиями создана эта вторая Москва, Москва, расположенная там, где раньше могли обитать только фантастические гномы, тролли и кобольды.

Так получилось, что я прибыл из Питера как раз к открытию новой станции московского метро. Разумеется, я не мог пропустить такого события и поспешил посмотреть на станцию с жизнеутверждающим названием «Трубная». Завернув на Цветной бульвар, я пошёл по центральной аллее, по давней своей привычке внимательно рассматривая окружающие меня дома от оснований до крыш, фонари, скамейки, скульптуры, расставленные в Москве где попало, и любясь фонтанами, которых здесь тоже великое множество. Изменилась ли Москва за то время, пока я здесь не был? О да, изменилась, правда, не скажу в лучшую ли сторону. Особенно неприятно бросается в глаза безвкусная крикливая наружная реклама, которая, словно грибок-паразит, распространилась по стенам домов, газонам и бетонным заборам. Уже у самого входа на новую станцию я заметил на одном из домов дурацкую неграмотную вывеску: «Мы открылись!!! Кожга-

лантерей». Слава богу, что теперь никто не глазеет зря на эти вывески и не учится по ним грамоте как Маяковский.

Около станции спешно сворачивали шнуры, убирали штативы, кто-то ещё давал интервью на верхней площадке у входа.

Да, конечно, новая станция лишена великолепия и роскошества сталинского ампира, но я никогда не говорил, что люблю метро исключительно за красоту и богатство его интерьеров.

Более, нежели это его неоспоримое достоинство, меня привлекает возможность освободиться от отрицательных эмоций и отстроиться от негатива, а здесь всё помогает справиться с этой задачей. Шум электричек, гул работающего эскалатора, ровный шелест передвигающихся людей – всё это, переплетаясь, образует особенный «белый» шум, воздействующий на психику не хуже шума падающей воды или гудения ветра в проводах. Не говоря уже о световом оркестре из всевозможных светильников, ламп и подсвеченных плоскостей, настраивающих нас на медитативное восприятие окружающего. И, конечно, изобразительные и скульптурные формы.

Представляю, как кто-то сейчас брезгливо поморщился, никак не желая восторгаться соцреализмом. А почему бы и нет? Сакральные, культовые смыслы оставили эти произведения искусства; да и нет уже и той среды, способной поддерживать их в этом качестве, осталось только чистое эстети-

ческое наполнение, уверенные, а подчас и изысканные формы, тонкий колорит, крепкий рисунок, интересные декоративные решения. И как это случается с истинными шедеврами, наше воображение преобразует их своими ассоциациями, своими особенными субъективными представлениями, позволяя им прорасти в нашей памяти совершенно иными всходами, непредставимыми для тех людей, чьими ровесниками они являются.

В любимой искусствоведческой диаде: форма-содержание, последняя нередко оказывается более слабым и ненадёжным звеном. Читали ли вы когда-нибудь нравоучительные сочинения XVIII века? Если да, то поделитесь с другими своим весёлым настроением. Но их авторы никак не предполагали, что их слово отзовётся непредсказуемым смехом из века XXI. Но, пожалуй, мы отвлеклись и вернёмся снова в метро, под землю.

Нет, те, которые замыслили всё это и создали прекрасные подземные залы, напоминающие дворцовые, хорошо разбирались в делах общественных и человеческих, поскольку ничто так не сплачивает людей, как чувство сопричастности к тому, чем можно гордиться; это я говорю о людях-созидателях, людях, наделённых разумом, талантом и волей которых преобразуется окружающий мир.

Да, старая как мир дилемма: культура или природа. Но не вина культуры в том, что она противостоит человеческой природе и не возникает сама собой, вырастая на лени и неве-

жестве.

А сколько, спускаясь в метрополитен, я прочитал хороших книг, сколько сюжетов моих книжных иллюстраций придумано здесь же, как часто приходили мне мысли, *что и как я должен изменить* в той или иной живописной работе, чтобы она заиграла всеми своими красками. Да и эти правдивые строчки я пишу тоже в метро, проезжая по Замоскворецкой линии.

Поезда в Петербург отправляются ночью, и весь вечер перед поездкой можно побродить по городу, посмотреть на искусную городскую подсветку и послушать бой курантов, который в такое время воспринимается как нечто очень волнующее. Однако в день отъезда мне как-то особенно не повезло с погодой: дул сильный ветер, а он, наряду с дождём и метелью, приносит для меня наибольшие неудобства. Чего только стоит вечно сдуваемый холст с этюдника или летающая городская пыль, оседающая на свежих слоях краски. Писать, конечно, я не собирался, но традиционную прогулку по городу решил заменить экскурсией по вестибюлям и платформам метро, начав, разумеется, со своей любимой станции – «Комсомольской».

«С тобой всё в порядке?». Или: «С тобой что-то не так!». Да можно привести ещё несколько речевых клише из того словесного мусора, с которым не позорно обратиться к такому субъекту, как я, видя как нагруженный объёмной художественной поклажей, я стремлюсь пристроиться в хвост

толпе, текущей по направлению к метро.

Возможно, кому-нибудь бы и мешала эта ноша, только не мне. Меня ничто и никто не в состоянии ни унижить, ни сбить с пути, ни снесвободить. Когда человек свободен изнутри, его не смогут отяготить никакие внешние обстоятельства, которые ему, как многотонное давление воздуха, попросту незаметны.

Но прощаться всё равно грустно, хоть и не люблю я этого слова, поскольку бог весть что оно означает! И разве я не хочу уезжать из Москвы? Да нет, «Пора! Пора!» – так отвечает за меня тридцатая глава моего любимого романа. Осталось что-то такое, что не положить в багаж, не уместить в памяти, не оторвать от сердца? Увы, тоже нет. Так что же, почему тяжело дышать и тревожно блуждает взгляд, нервно цепляясь за каждую мелочь? Просто не выносит наша душа никаких рубежей, не приемлет разум никакой итоговой черты – только бы стуки колёс на стыках рельс и никакого скрежета тормозов!

Напоследок мне почему-то захотелось вернуться туда, откуда началось моё путешествие, а именно на вновь открытую станцию московского метро. Наверху свистел ветер, врываясь в полости и щели, грузно перебирал глухие струны проводов, хлопал рекламными растяжками, гудел в каменных мехах воздухозаборников густым, надрывным басом. Но люди не слушали, они поправляли одежду и отворачивали лица.

А ветер открывал двери, распахивал форточки, считал сор на газонах, поднимая его в воздух. Я сориентировался и понял, откуда пришёл ветер. Это был влажный норд-вест, ветер из Петербурга. И тут мне вдруг стало непринуждённо и легко, и слова «Пора! Пора!» зазвучали зазывно и уверенно, и в них уже не было больше горечи. Я посмотрел на северо-запад, прямо в лицо ветру. И ветер качнулся и бросил на край газона, совсем недалеко от меня, фанерный щит «Кожголантерея», по-своему исправив нелепую грамматическую ошибку, досадную для нас обоих.

... Поезд уже отошёл от перрона, а я вспомнил ещё об одном ярком впечатлении, о котором следовало бы написать. Полагаете, я забыл рассказать о Кремле? Ну да, о нём.

Вы, наверное, не обращаете внимания на то, сколько сейчас зданий стоит в лесах, то ли на реконструкции, то ли на реставрации. Я же никак не могу не отмечать это обстоятельство, поскольку, пристраиваясь писать где-нибудь городской пейзаж, в моё поле зрения обязательно попадает либо зелёная сетка ограждения, либо ржавые металлические ярусы, обвивающие здания. Вот и в Кремле я увидел ту же картину. Но здесь вся эта атрибутика обновления на фоне творений Аристотеля Фьораванти и Федьки Коня показалась мне вполне уместной, даже символичной.

Кирпичные белёные храмы, крытые золотом, узкие звонницы, маленькие окна, крутые лестницы и тесные двери – всё

это настойчиво напоминает о страшном времени Грозного царя, в резиденции которого не могло быть ничего другого.

А ещё низкие своды, глухие росписи и тёмные иконы – торжество скорби, манифестация покорности и смирения.

Не знаю, не знаю, возможно, я обладаю повышенной внушаемостью, но ни псковские, ни новгородские храмы не вызвали во мне такого острого ощущения присутствия тени неприкаянной личности Ивана IV. Даже храмы Вологды, куда Грозный царь приезжал, дабы лично проверить качество строительных материалов для нового собора, бросая с подводы кирпичи на груду камней.

Я уж и не говорю о царском месте в храме Успения, около которого у меня тяжелеет голова и начинает мутить от нехватки воздуха.

Да, да, здесь есть благодарное пространство для психоанализа, и, может быть, я когда-нибудь и займусь этим псевдонаучным самокопанием, когда мне уже совсем нечего будет делать. Вот тогда-то, вооружившись полезными и нужными книгами, написанными всякими умниками, научившимися из ничего извлекать что-то, я пойму, каким же это образом спустя почти полтысячелетия можно смотреться мне в душу и трясти передо мною своим остроконечным посохом. Ведь куда бы я ни направлялся, обходя бывшие владения царя Ивана, везде маячила его угрюмая тень. Разглядываю дворцовую утварь и наблюдаю своим внутренним взором как иранский золотой кубок искрится в тонких и нервных паль-

цах царя, а вот этот ковш, тускло отсвечивающий потемневшим металлом – в руках Малюты и, вглядываясь в овальное серебряное зеркало, вижу на его дне застывший лукавый взгляд Фёдора Басманова. Коснусь странных каменных перил церкви Ризоположения, чей кирпич покрылся майоличным глянцем от миллионов рук, и чувствую, как в этом же самом месте лежала жёсткая царская ладонь в расшитой золотом рукавице, и скользили руки опричников в пятнах грязи и крови. Даже на выставке церковной вышивки не обошлось без зловещего напоминания о Грозном царе: среди всех этих женских шедевров я разглядел очень любопытную работу, в которой можно было бы предположить влияние французских импрессионистов, не будь это сделано в XVI веке. Каково же было моё удивление, когда эта работа оказалась выполненной одной из жён Ивана IV, сосланной им в Горицкий монастырь.

Нет, прочь из душных помещений на свежий и открытый воздух! Тем более что над существующей там зелёной территорией в последнее время изрядно потрудились. Там, вдоль Кремлёвской стены между Троицкой и Спасской башней, протянулась анфилада клумб и декоративных цветников, выполненных настолько блестяще и с таким изысканным вкусом, что ими можно любоваться часами. И желающих приобщиться к творчеству флористов и ландшафтных дизайнеров находится ничуть не меньше, чем традиционных экскурсантов, сосредоточенных исключительно на представ-

ленных экспозициях и местах, отведённых для обозрения. И если в остальной Москве найти место для отдыха весьма проблематично, то здесь везде расставлены удобные скамейки, где с одной стороны – башни, храмы и административные здания, а с другой – открывается прекрасный вид с холма на Москву, на её центр. Иной подобной точки для обозрения, с которой можно было бы рассматривать центральный район вплоть до Садового кольца, я не знаю. Трудно сказать, каково здесь в иное время года, но пышный благоухающий партер порадовал меня целым букетом всевозможных декоративных трав и цветов, где кусты роз парят над разноцветным живым ковром.

Я люблю цветы за возможность остро почувствовать ощущение жизни, за то, что можно прикоснуться к мощным и упругим жизненным токам и едва уловимым пульсациям, соединённым в цветке; цветы сводят воедино мечту и реальность, прошлое и будущее. И, несмотря на свою хрупкость и мгновенность, они – самый яркий символ непобедимости жизни, её светлого начала.

Я сел на лавочку прямо около густого розового куста с мелкими желтоватыми цветами и глянцевыми тёмными листьями. Нежный аромат розы был подобен утренней грёзе – дурманил, обещал то, чего не бывает. А со стороны площади подошла небольшая группа женщин с ребёнком изучить, каким образом устроен потешный лабиринт на одной из клумб. Возможно, это была одна семья – бабушка, мама

и две дочери: девушка и девочка-дошкольница.

Женщины о чём-то тихо разговаривали, улыбались друг другу, и от них веяло такой спокойной уверенностью и умиротворением, что мне показалось бы противоестественным, если бы к их обществу присоединился кто-нибудь пятый, который без сомнения нарушил бы существующую гармонию. Я смотрел и любовался их лицами, грациозными и размеренными движениями. Их речь и негромкий смех, смешиваясь с шелестом листвы, превращались в мелодичный речитатив, который был очень приятен моему слуху. Собственно, только они, женщины, и живут в этом мире, хотя его за чем-то упорно и несправедливо называют «мужским». Только они, женщины, и пришли сюда для жизни, а мы, мужчины, лишь случайные обстоятельства в их судьбах. Чем, собственно, здесь мы заняты? Враньём, хвастовством, агрессией и бессмысленным прожектёрством. А ещё мы умеем, подобно Протею, принимать всевозможные личины, разыгрывать разнообразные роли, прикидываться и пускать пыль в глаза. И иногда делаем это вдохновенно и с большим искусством, так, что попутно создали великую живопись, музыку и литературу. Но это обстоятельство, опять же, мало говорит в нашу пользу, поскольку везде и во всём мы желаем уклониться от ответственности, даже и тут лукавя, что нам-де не дано предугадать, чем отзовётся изреченное и написанное.

Наверное, можно сказать, что только женщины в моей жизни и были мне настоящими друзьями. И положительные

примеры для себя я тоже находил исключительно среди женщин. Скорее всего, оттого я и лишён какой бы то ни было мужской солидарности. Мой дед, если и пробовал поучаствовать в моём воспитании, то делал это весьма непоследовательно и грубовато. В мальчишке он наиболее ценил умение драться и верховодить. А моё желание уединяться и занимать себя непонятными, с его точки зрения, играми и чтением его сильно расстраивало. О себе он рассказывал мало и преимущественно то, что отчего-то считал очень весёлым, как, например, рассказ о том, как «белые» на какой-то барже, идущей в Астрахань, вздумали его расстрелять, но он ловко спрятался и по прибытии в порт незаметно оставил судно, прихватив с собой ещё и мешок муки. Будучи человеком активного действия и только в этом находивший какой бы то ни было смысл, он недоумевал, кем же я смогу стать, когда вырасту? И, похоже, считал меня человеком совсем потерянным. Женщины: бабушка, мама и тётя – так не считали, и проявляли гораздо больше заботы и понимания. Да, я с раннего детства в женщинах наблюдал значительно больше здравого смысла и трезвого подхода к жизненным проблемам и способности и желания их разрешить. И профессии у них у всех были такие нужные и земные: учителя, врачи... В их мире всё было объяснимо и понятно и не существовало вопросов: «Зачем жить?» и «В чём смысл?». Было всегда всё ясно, и что делать, и кто и в чём виноват, если таковой всё-таки находился.

Тем временем, старшая из женщин отпустила внучку скакать по каменным плитам «лабиринта», а сама подошла к моей скамейке и села на неё так, словно рядом с ней никого не было. Девушка же развернулась в профиль и с улыбкой Джоконды смотрела куда-то вдаль, в сторону солнца, почти не жмурясь в его острых лучах. Горячие солнечные искорки стекали по её светлым волосам прямо на плечи, высыхая на матовой и смуглой коже. Её лицо было совсем свободно от какой бы то ни было тени, лишь мягкий полусвет слегка покрывал щёки и шею, отчего девушка казалась совершенно лишённой объёма. Её фигура была похожа на хорошую живопись – вся состояла из проникающих в друг друга цветных плоскостей, где ни один цвет не выбивался из общей колористической гаммы. По сути – это был образ самой Юности, не принадлежащий ни времени, ни географии.

Наконец, девушка изменила свои очертания и посмотрела в мою сторону так, что теперь я мог наблюдать это очаровательное творение природы из плоти и света в развороте на три четверти. Её глаза, полные солнца и неба, отражали и зелень листвы, и белизну храмов, и буйство декоративных цветов и растений, но, очевидно, что там не было ни меня, ни роящейся за мною тени, нашедшей для себя благодатную среду в моём воображении. Её кроткий взгляд ангела скользил мимо меня, мимо ползущих от Троицких ворот чёрных автомобилей, мимо толпы верующих, собравшихся на площади в ожидании выхода Патриарха, и устремлялся туда, в своё

предсказуемое будущее. Я переводил взгляд с одной женщины на другую и окончательно убедился – они меня не видят! Они меня не видят! Или не замечают, что почти одно и то же. Ни меня, ни Грозного Ивана, ни Малюты, ни всех выложенных здесь, вымаранных и исчирканных, страниц истории. Что им какая-то история, когда они – сама жизнь! А я всего лишь нераспознаваемый объект, не отвечающий на естественный запрос: «я – свой!», отщепенец, диссидент мироздания, крамольно находящий его законы несовершенными. Визионер, мечтатель, предпочитающий любой архитектуре замки из воздуха. Как часто эти слова мне приходилось слышать в свой адрес! Хотя это неважно, как неважно и то, что никогда в ангельских невидящих зрачках я не увижу собственного отражения, зато я могу видеть, наблюдать всё бесконечное многообразие жизни из своей маленькой вселенной, расположенной, как и у всякого визионера, на территории сердца.

Город Солнца

«Кисловодск – город Солнца» – такая вывеска встречает вас на въезде в город, пожалуй, точно на том самом месте, на котором стоял легендарный духан, где Пушкину довелось познакомиться со старым казацким офицером, ставшим прообразом его «Кавказского пленника». И верно – солнца здесь много, и всё вокруг сияет его отражённым све-

том: золотятся маковки церквей и мечетей, сияют стены домов и плиты тротуаров, сверкает атласом и шёлком трава и листва деревьев, переливаются радугами ажурные струи фонтанов.

Странное ощущение нереальности владеет путешествующим, впервые попавшим сюда: будто бы ты посетил доселе никому не известный гористый уголок Гринландии. И климат тут такой же, и жители, и архитектура. Разве что очень далеко отсюда море.

Только мы на это посмотрим с иного ракурса, не как на анклавную территорию, созданную великим романтиком, а как на реальный город Солнца, в кавычках и без.

Если осмотреться по сторонам, то легко убедиться, что всеми этими сторонами будут горы, немножко разные, но от этого не менее интересные. Хребет Боргустана, наступающий на Кисловодск с запада, вовсе не похож на те горы, которые мы привыкли видеть на картинках. Здесь вы не увидите глубоких ущелий и островерхих пиков. Это, скорее, громадный насыпной вал, созданный древними мифическими великанами нартами, которых так почитали горцы и от имени которых происходит название «нарзан», целебной воды, основного богатства здешней земли.

Хребет Боргустана, ровный, бледно-зелёный, с белыми подтёками осыпей и охристыми вершинами, разительно отличается от островных гор лакколитов, окружающих Кисловодск с севера. Лакколиты, хранящие тайну своего про-

исхождения, в недрах которых до сих пор остывает вязкая вулканическая лава, не производят такого величественного и захватывающего впечатления как горы хребта Боргустана. Чувство соприкосновения с чем-то значительным сразу заполняет незадачливого путешественника, с любопытством разглядывающего окрестности. Эти гладкие склоны хранят в себе такое тяжёлое тысячелетнее молчание, которое неизбежно передаётся любому очутившемуся здесь. И он, как всякий случайный гость, оказавшийся на этой земле, проникаясь их величием и силой, необъяснимо как понимает, о чём так сурово молчат эти горы. А молчат они о том, как непростительно поздно он посетил этот солнечный край, как мало дышал горячим воздухом рыжих слоистых камней, как бегло и невнимательно лицезрел серебристые травы и мелкий горный разноцвет, совсем не пытаясь вглядываться и изучать горные потоки и вникать в их бурлящую и искромётную суть. Скажете, а что же это горы разменивают свой абсолют на такую скоротечную случайную данность, как человеческая жизнь?

Но вы ступите на белую каменную крошку у подножия Боргустана и поймёте, что горы молчат и думают именно о вас, и не до каких абсолютных истин им нет никакого дела. Ну, хорошо, скажете вы, а если бы мы не были такими нерадивыми учениками у природы и выполнили бы все данные нам нехитрые рекомендации, которые уловил наш невнимательный внутренний слух?

Как знать! Наверное, тогда бы мы сами исполнились такого же тяжёлого молчания, как эти величественные горные цепи, раскрашенные нежною бледно-зелёной пастелью. И, приблизившись к абсолюту, осознали все истины земли и воды. Но, увы, не дано этого легкомысленной человеческой природе.

Хребет Джинал, примыкающий к Кисловодску с северо-востока, имеет совершенно иной рельеф и отличается по цвету, благодаря произрастающим там многочисленным цветам и разнообразным травам, в том числе и чрезвычайно редким, таким, например, как катран сердцелистный или мерендера трёхстолбиковая. Джинал – переводится как жилище злых духов, и впоследствии мы ещё вернём любознательного читателя к этой интересной теме.

В отличие от Боргустанского хребта, хребет Джинал целиком покрыт субальпийским лугом; вместо клевера и ковыля здесь произрастают колосья полевицы, усыпанные густыми соцветиями вероники и звёздочками горечавки, россыпями скабиозы и эспарцета.

Обозревая город со склонов этих гор, сами собой на память приходят лермонтовские строки о здешнем крае и о его природе и ты вдруг понимаешь, что в них сокрыт не столько ритм и правильный размер, сколько чистый горный воздух, стелющиеся серебристые травы, свободное кружение орла над нагромождениями камней и яркое пронзительное солнце, подарившее свечение и краски всему здешнему про-

странству.

Но как бы ни были прекрасны горы, всегда приходится спускаться на землю. Таким же образом поступим и мы, вернувшись в город, на его не прямые улочки и зеленеющие парки, вид которых привёл бы какого-нибудь пытливого натуралиста в явное замешательство. А всё дело в том, что природа не предусмотрела в окрестностях Кисловодска никаких деревьев, только высокие степные травы, и лишь пришедшие сюда распорядились в этом отношении по своему произволу. Поэтому не удивляйтесь, если вам приведётся увидеть рядом среднерусские берёзки и средиземноморские кипарисы, северные ели и дальневосточные сосны. Здесь, как в городе Кампанеллы, определяющей оказалась не природа, а люди. А раз уж мы коснулись проблемы противопоставления естественных факторов и человеческой воли, уместно вспомнить о такой сомнительной вещи как предопределение, косвенно с этой проблемой связанное. Если сравнить Кисловодск с остальными городами Пятигорья: Ессентуками, Пятигорском, Железноводском, Минеральными Водами, то резко бросается в глаза искусственность его происхождения. В этом городе всё, включая всю его инфраструктуру, подчинено одной общей градообразующей идее: Кисловодск существует исключительно как город-курорт, и для обыкновенной жизни здесь попросту не остаётся никакого места. Такой характер город определил для себя сразу, и его можно бы, пожалуй, назвать беззаботным и мечтательным,

лёгким и счастливым, какой случается лишь у тех, кого принято считать баловнем судьбы. Недаром ещё в лермонтовские времена Кисловодск называли словом «пашкур», которое можно перевести как место, где можно весело провести время после лечения где-нибудь в Пятигорске или Железноводске. И как знать, возможно, виной тому – обилие солнца, подчас не оставляющее никакой тени, в которой смогли бы сосредоточиться роковые силы, преодолевающие самую надёжную защиту и входящие без стука в любую человеческую жизнь. Не перечсть всех тех, в судьбах которых Кавказ оставил свой трагический след. Вспомним поэта Михаила Лермонтова. Внезапное желание приехать в Пятигорск и побывать в доме Верзилиных заставило его изменить маршрут к новому месту службы. Ни отговоры его родственника Столыпина, ни соображения воинской дисциплины не имели никакого действия – Лермонтова неодолимо тянуло в Пятигорск, и «решётка» брошенного наудачу серебряного полтинника решила дело в его пользу. Вскоре он оказался в доме Верзилиных, где и состоялась та роковая ссора с Мартыновым. Повод для дуэли был ничтожным, и очевидцы рассказывали, что никто заранее не собирался стрелять. Не было даже доктора, присутствие которого всегда предполагалось в таких случаях.

Кстати, вспомним о Мартынове, хотя лучше всего было бы вовсе забыть Герострата, тем более что тот так и не раскался в убийстве российского гения. Заметим, что и Дантес

также не скорбел об убиенном им Пушкине. Но Мартынов, в отличие от Дантеса, казалось бы, получил тяжелейшее наказание, установленное для него Высочайшим повелением — церковное покаяние, предполагавшее многолетнее послушничество и замаливание совершённого им злодеяния. Однако, как только Мартынов покинул Кавказ, его судьба разворачивается совершенно в иную сторону: назначенный тёмный жребий замещается удачной женитьбой и тихим семейным уютом среди многочисленного потомства.

Если вы бывали в Пятигорске, вам, должно быть, запомнились все те места, которые мы вскользь упомянули. Трудно избавиться от угрюмого и безрадостного впечатления, которое неизменно сопровождает вас при их посещении; да и слишком тяжела нависающая над открытым равнинным пространством островерхая каменная шапка Бештау; слишком скорбными письменами пополнилась здесь русская история и летопись русской культуры. Говоря словами Ахматовой: «Здесь Пушкина изгнание началось, и Лермонтова кончилось изгнание...».

Надо ли в несчётный раз повторять, как дороги нам эти имена? И сюда, на Кавказские Минеральные Воды, неизменно спешили пройти по их следам тысячи и тысячи других — знаменитых и не очень, юных и не совсем, пишущих стихи и не пишущих ничего. Сюда некогда завернул Максим Горький, путешествующий пешком по России, здесь побывал Есенин с друзьями, приезжал Маяковский... Но в отли-

чие от Петербурга, их привлекала к себе не благодатная и возделанная творческая почва, а дикая, неведомая среда, во-бравшая в себя всё высокое небо, откуда спускался на склоны Джинальских гор сумрачный Демон.

Следы всех этих людей, приехавших на Кавказ, по меткому выражению Балакирева, «дышать Лермонтовым», бережно хранил Пятигорский архив. И, как уже не однажды, случилось непоправимое: он весь сгорел во время Великой Отечественной войны, хотя в Кисловодске немцы, по необъяснимо какой причине, не тронули нерасформированного госпиталя с тяжелоранеными бойцами Красной Армии.

Да, Кисловодску всегда везло значительно больше. Что-то вечно юное и беспечное есть в этом городе, со всех сторон укрытого горами и обласканного солнцем. Словно какой-нибудь счастливый Лисе или Зурбаган, он не омрачён прошлым и не отягощён будущим и весь сосредоточен в своём солнечном настоящем. Если в горах Джинала и обитают демоны, то в Кисловодской долине, определённо, поселилась удача. На самой его заре, когда во враждебном окружении воинственных племён существовала лишь Кисловодская крепость, произошло сражение, которое вряд ли вошло в анналы военной науки. Тем не менее, абадзехи и убыхи, ведомые Али Хырсызом, были наголову разбиты русским гарнизоном под предводительством Екатерины Мерлини, впоследствии награждённой бриллиантовым браслетом за храбрость. Столь чувствительное поражение от женщины горцы

ещё долго не могли забыть. Наверное, с русскими солдатами была не только отважная и находчивая Екатерина Ивановна, но и сама Госпожа Удача.

Но вернёмся всё же к оставленному нами на время итальянскому мечтателю и его городу, попутно вспомнив о Пилате из бессмертного романа и о его язвительном вопросе о «царстве добра и справедливости». Искренне жаль, что не привелось Кампанелле отдохнуть в санаториях Кисловодска, каком-нибудь «Луче» или «Пикете», в санатории им. Г.К. Орджоникидзе или санатории им. С.М. Кирова. Не привелось. Иначе мыслитель бы позволил себе куда более смелые предположения и фантазии. А дело в том, что в каком-то смысле «царство добра и справедливости» уже утвердилось на отдельно взятой городской территории. Все, кто здесь хотя бы однажды побывал, вне всякого сомнения, подтвердят справедливость нашего посыла. И неважно, что внимательное и доброе отношение к окружающим немедленно и безвозвратно пройдёт, стоит только закончиться заветным неделям беззаботного отдыха и вернуться обратно к себе в Ставрополь, Липецк или Санкт-Петербург. «Да всяк, – скажете вы, – будет благожелателен и расположен к своему окружению от нечего делать, особенно, когда нет ни малейшего повода беспокоиться». «Всё верно», – скажем мы, и от себя добавим, что когда таких беззаботных людей набирается целый город, то нет ни малейшего повода беспокоиться даже за фантазии великого итальянца: тут всё, как и подобает быть

в городе Солнца – тихо, сыто, солнечно и никто не брошен на произвол судьбы. Во всяком случае, утром к вам непременно зайдёт врач и дважды в день постучится медсестра. И в разной пропорции вас ждут экскурсии, лекции и лечебные процедуры. О, чудесный и благословенный город, жаль только, что его гражданство приобретается за деньги и длится не более трёх недель.

«И что ж, неужели нет никакой тёмной стороны во всей этой идиллической лучезарности», – обязательно спросит тот, кому не случилось отбыть курсовочку, не важно в каком санатории, будь то в «Москве», либо же в санатории «Целебный Нарзан», либо каком-нибудь ещё.

Мы ему глубокомысленно кивнём и удивлённо пожмём плечами, да, мол, понимаем, о чём это вы, только думать об этом никак не желаем. Поразмышлять, конечно, можно, только зачем?

Ладно, давайте заглянем на секунду в несолнечный Кисловодск, раз уж непосвящённые об этом нас так настойчиво просят. Выберем пасмурный, хмурый денёк, да, и такие здесь тоже случаются, постараемся освободиться от намертво прилипшего к нам благодущия и стереть вечную улыбку просветления с лица, дабы из нирваны вновь вернуться в обыкновенную жизнь. И, конечно же, не будем держать в голове, что в 13.15 нам нужно на обед в просторной зале, красиво обставленной вечнозелёными растениями в кадках и украшенной воздушными струящимися занавесями, чекан-

кой и картинами, а в 14.20 нам нужно будет принять подогретую нарзанную ванну.

Итак, что же мы увидим, выйдя за высокий санаторский забор? А увидим мы кривые улочки со зданиями в два или три этажа, с трещинами на фасадах и со значительными утратами лепки и штукатурки, с небольшими двориками, заваленными всяким хламом, покосившимися оградами и щербатыми тротуарами. Металлические конструкции, используемые в городской архитектуре со времён зодчих братьев Бернардацци, задавших тон архитектурному развитию Пятигорья, уцелели почти повсеместно, но покрылись такой толстой слоистой рыжей кожурой ржавчины, что напоминают структуру здешних гор в миниатюре. Колонны всевозможных ордеров и размеров сохранили свою стройность и стать, однако у своих оснований, до полуметра вверх, время отлессировало их зелёным полупрозрачным грибком; и в многочисленных щелях плитов юркие ящерицы соорудили себе удобные норы. Лестницы, которых здесь, ввиду гористого рельефа, превеликое множество, изрядно поизносились, что заставляет прохожан самым внимательным образом смотреть себе под ноги. И, наконец, если вспомнить про неписаный моральный кодекс солнечного города, предполагающий исключительную вежливость и предупредительность, то всякий его обитатель моментально готов отказаться от такового, стоит лишь на время краткой непогоды, когда не хочется выходить из уютного лечебного корпуса, отклю-

чить подогретую воду в бювете. Впрочем, если продолжить наши размышления в этом направлении, то мы можем оказаться куда продуктивнее мечтательного Томмазо, разве что наши размышления окажутся с совершенно противоположным знаком. Поэтому оставим это занятие и не будем огорчать блистательную тень великого мыслителя. Тем более, что место, в котором солнце триста дней в году, к этому не имеет никакого отношения. А закончить нашу мысль попробуем с помощью заключительной строфы одного из самых цитируемых стихотворений Александра Блока:

Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!

Любопытно, а как вы думаете, что является в здешних местах «сокрытым двигателем»? Да, да, разумеется, это терренкуры! С их вечной ходьбой туда-сюда. На многие десятки километров протянулись их тропы, и только Александр Сергеевич Пушкин мраморно стоит среди виляющих пешеходных маршрутов. На газонах везде расставлены внимательные таблички с указанием сложности пути и высоты подъёма. Шагайте, шагайте, друзья, в гору, там, наверху, вас встретит бронзовый сидящий Михаил Юрьевич в мундире Тенгинского пехотного полка. Можете даже с ним сфотографироваться, но только не влезайте ему на шею, ожидая жизнен-

ных преодолений, он же не Остап Бендер и удачи вам никоим образом не принесёт.

Однако вернёмся, как и полагается при движении по терренкуру, почти к той же самой точке, разве что на абзац выше, и посмотрим немного вниз, на цитату. Полагаем, что она всё же убедила не всех, но вот что, безусловно, заставит поверить всех в торжество «добра и света», так это выглянувшее с утра из-за хребта Джинал и рвущееся в зенит солнце.

И сразу заблестят лестницы струящимся атласом, превратятся в лучезарные столпы колонны, фасады домов покроются ровным желтоватым глянцем, и даже сор во дворах приобретёт тёплый волшебный оттенок.

Пусть своенравная погода – это дело случая, но в итоге здесь солнца всё равно статистически вдвое больше, нежели в соседних городах Кавказских Минеральных Вод. Верно, таким и суждено быть Кисловодску: солнечным, уютным, провинциальным. Тут же заметим, что провинциальным – не значит захолустным и убогим.

В семидесятые годы Кисловодску была выделена значительная сумма на развитие города, начали возводиться высотные панельные дома, город потянулся ввысь. Но случилось почти в то же самое время побывать в Кисловодске тогдашнему первому лицу государства, которому пришлось не по душе творимые изменения. «Пускай город остаётся таким же как и был», – заключил Брежнев, и строительство было свёрнуто, а деньги пошли на реставрацию и городскую ин-

фраструктуру.

Однако никакой «город Солнца» не могут обойти масштабные проекты, всегда понимаемые людьми, как прорыв к светлому будущему, как символ перемен, как бросок в неведомое. Вспомните хотя бы «Котлован» Платонова. Вот и в Кисловодске решили рыть свой котлован. Большой, больше платоновского, это уж наверняка! Котлован сообразно городу Солнца, котлован под гигантское озеро. Котлован вырыли, шлюзы построили. И только тогда в творимые масштабные проекты вмещались учёные и, о чудо, их послушали.

«Будет в Кисловодске большой водоём, – сказали учёные, – климат станет влажным, появится огромное количество насекомых и отдыхающим придётся забыть о комфортном отдыхе».

Теперь, если вам случится ехать от Кольцо-горы к муляжному замку Али-хана, именуемому ещё как «Замок коварства и любви», обратите внимание на громадный лог, заросший серебристым кустарником и на торчащие из этой зелёной чаши бетонные скалы, тронутые ржавчиной и изумрудными мхами – знайте, это и есть несостоявшийся котлован.

Да, Кисловодску, безусловно, везло. Если, как утверждает легенда, в горах Джинала и поселились злые духи, то Кисловодскую долину облюбовали для себя «добро и свет», о которых так не в меру беспокоился пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат. Ведь без них не может быть никакого города Солнца, будь в нём хоть 365 солнечных дней в году.

В Кисловодске и в самом деле очень много света, света в прямом и переносном смысле. Наверное, поэтому на каждом его оживлённом перекрёстке продаются солнечные очки. И где бы вы ни жили, эту покупку лучше всего совершить здесь, в Кисловодске. Здесь есть дымчатые, зелёные, зеркальные, очки-хамелеоны, есть даже розовые очки, через которые город становится ещё более нарядным, ещё более праздничным. Да, действительно, где же ещё покупать солнечные очки как не в городе Солнца?

Письмо с юга

Письмо, в отличие от обычного литературного текста, интересно возможностью писать от первого лица, не боясь быть обвинённым в нескромности и бессюжетности; в письме можно быть предельно субъективным и не думать о композиционной целостности, искренне заблуждаться, повторяться и обрывать мысль на полуслове. Единственно, что непозволительно в письме — это забывать о том, для кого оно написано, пусть даже для незнакомого адресата, до востребования.

Великое множество книг так и не видит своего читателя, разве что сами авторы могут иметь приблизительное и путаное представление о своём произведении. Письмо же будет прочитано хотя бы тем, кому адресовано, а это уже немало, если помнить о написанном выше.

Надо сказать, что всё своё детство я провёл здесь, у Чёрного моря, и впервые вернулся сюда спустя сорок лет. Желание вернуться на берег, усыпанный галькой и раковинами, было так же сильно, как и опасение за свои детские впечатления. Марк Шагал так и не вернулся в Витебск из-за боязни, что он не увидит того, что так питало его творчество: всех этих хрупких домиков, задумчивых животных и невесомых людей, лишённых силы тяготения.

Страна детства встретила меня туманом в горах. Серебристые полупрозрачные змейки скользили по склонам и таяли в долинах; дальние вершины проступали как через матовую кальку: края их списывались с небом, и весь пейзаж казался завораживающе зыбким и текучим. Мне всегда представлялось наиболее сложным находить единственное из калейдоскопического множества случайных состояний: идёт человек, течёт вода, плывут облака, скользят тени... Здесь это правило отбора отменяется самой натурой. Сказочная, могучая природа сверкает всеми гранями своего магического кристалла, всякий луч от которого – законченная композиция, готовая воплотиться на холсте. Я для себя отметил одну интересную особенность, возможно, существующую лишь для меня. Есть пейзажи, с которыми можно вести диалог, есть такие, которые можно только слушать или, напротив, говорить что-то в их молчаливую сущность. Но желание взяться за кисть и остановить мгновение рождается только тогда, когда кончаются всякие слова и наступает абсолютное без-

молвие не потому, что нечего сказать, а потому, что слов просто не существует.

Вот лишнее свидетельство, почему работы, написанные по фотографии, отличаются вялостью и безжизненностью. Взирая снизу вверх на эти седые вершины, существовавшие миллионы лет до тебя и которые будут существовать миллионы после, проникаешься их величию и силой, что даже в слабую грудь проникает тот живительный воздух вдохновения, который делает острее глаз и вернее руку. Решившись прийти сюда с белым холстом, природа забирает у тебя всё, с чем ты к ней пришёл: знания, память, самоощущение и возвращает обратно только с последним мазком.

Наверное, не всё, но многое зависит от стечения обстоятельств, когда твой успех или неудача определены влиянием внешних сил. Есть множество работ, за которые мне должно было быть стыдно: всяких белых медведей для внезапных заказчиков, сделанных наспех копий к «завт-рему» по дешёвке, сверхурочных «ночных» рисунков для своих друзей к их поэтическим сборникам и многое, многое другое, что хорошо было бы вовсе не делать. Здесь, где так прозрачен и чист воздух, наполненный пением птиц и цикад, где так пронзителен свет и такие густые разноцветные тени, нет места фальшивке и имитации, и представляется, что всё сделанное тобой будет носить отпечаток подлинности.

Но я забыл сказать о самом главном. Я так и не вернулся в узнаваемые места детства: исчезли и *те* горы, и *то* море,

и здания, и города, лишь корабли, покачивающиеся на рейде, всё так же блестят красной медью и белой эмалью, чернеют трубами и якорями, но они уйдут, непременно уйдут туда, куда невозможно вернуться. У них независимо от рейса всегда именно такой пункт назначения. А мой Геленджик укрылся где-то в горах, как легендарная Шамбала, там так же тянутся вверх к маяку хлипкие строения, текут к морю белые ручьи, а на берегу живут своей жизнью камни и раковины. Но юг такое уж место, где способно уживаться всё и ничто не отменяет другого. Недаром здесь так хорошо освоились пальмы из Америки, эвкалипты из Австралии, бамбук из Юго-Восточной Азии и цветы и кустарники со всех частей света.

Конечно, раньше можно было свободно бродить вдоль берега моря, лазить по горам и находиться там, где вздумается, наблюдать павлинов в парке, а по вечерам привечать приبلудных ежей. Сейчас весь берег моря поделён на небольшие участки различных владений, сети оград, заборов и километры колючей проволоки опутали и берег, и горы. Но если ты свободен по своей сути, ты, подобно гриновским героям, будешь свободен всегда. И клочок берега будет равен всему побережью, и уступ горы – всему горному кряжу.

Проходя по этим, увитым плющом и диким виноградом, узким улочкам невольно и остро ощущаешь своё Несбывшееся. В памяти всплывают моменты, когда судьба водила тебя по таким же двоящимся улицам и ты предпочитал идти в

густой тени платанов, нежели пойти по знойной глине улочки, уходящей вверх, в горы, или присоединился к оживлённому потоку, спешащему к морю, хотя мог бы пойти пустынной тропой между зарослями маслин и самшита. Несбывшееся не приносит ни сожалений, ни раскаяния, ни обиды. Оно похоже на сизую дымку на море: манящий горизонт возможно лишь угадать, но увидеть – невозможно. Несбывшееся наполняет нашу жизнь исключительностью и определенной значимостью; оно тот источник, из которого мы подпитываемся волей к жизни, мечтами и надеждами. Оно похоже на улыбку Будды – лёгкую, словно тень от розового облачка из летучей гряды облаков и загадочную, поскольку содержит больше тайн, чем сама жизнь.

Следует попутно отметить, что такую строку как «редеет облаков летучая гряда», можно было написать только о Кавказе.

Но вернёмся к моему путешествию. Сбежав от туристического вранья, на которое поначалу попался по неопытности и которое не стану описывать, поскольку развернёт это повествование в ином направлении, я начал передвигаться самостоятельно. Меня приятно поразило что местные присутственные места здесь принято украшать картинами. Подозреваю, что такая традиция сохранилась с тридцатых годов, когда было решено сделать из побережья Всесоюзную здравницу, и когда изобразительное искусство было в моде. Я обнаружил в совершенно неожиданных местах работы Са-

рьяна, Бакшеева, Бялыницкого-Бирули... А вот местных художников я видел только торгующими в парках и никогда на плейере. Встав с этюдником у Сочинского моста, у прохожих я не вызывал ни малейшего интереса, что странно, поскольку в Питере всегда нашлись бы любопытствующие. Это напомнило мне пленер на Украине, с той единственной разницей, что там всякий приметивший меня подходил и отчитывал как бездельника, уклоняющегося от полезного труда на благо семьи и общества.

В «Кавказской Ривьере» я зашёл на местную выставку. Из всех «Айвазовских», а Иван Константинович здесь явно недостижимый образец, мне понравился один художник с неразборчиво написанной фамилией на букву «С». Его картины, пожалуй, единственные были написаны сложным цветом и большей частью представляли совершенный квадрат, что нехарактерно для неравновесных «южных» работ. Сначала я не поверил в эти запутанные архитектурные композиции, похожие на ребусы Эшера, но, побывав в Красной поляне, Молдовке и Бестужевке, увидел, что реальность может быть даже похитрей иной придумки. Вообще о местной архитектуре стоит рассказать особо.

Напомню, что сюда, на юг, были направлены лучшие архитекторы: Жолтовский, Щуко, братья Веснины и другие известные зодчие, в том числе и создатели «сталинского классицизма».

Да, здесь много величественных зданий, украшенных

портиками, арками, витиеватыми фронтонами эпохи строительства социализма – здания эти сейчас утопают в экзотических вечнозелёных растениях, покрылись благородным налётом времени: на гигантских стёклах появились кольца радуги, гранитные глыбы поросли мхами, а большие заштукатуренные площади и лепнина украшены живописной зеленью грибка. Здешняя архитектура непредставима без субтропической флоры. Дендрологи и цветоводы проделали громаднейшую работу, сопоставимую с работой зодчих. Есть здесь и здания в стиле модерн – их немного и они мельче своих северных собратьев; видел также и несколько представителей неоготики – это ровесники освоения Кавказа. И, конечно же, как грибы растут особняки новой элиты. Я наблюдал появление похожих строений в Петербурге в девяностые годы. И меня тогда ещё удивляли уродцы из красного кирпича, окружённые вышками и ограждениями из колючей проволоки. Я вначале полагал, что истоки следует искать в возрождении интереса к ассиро-вавилонской строительной практике, – люди малообразованные нередко тяготеют к архаике, но, как-то случайно, проходя по набережной Невы мимо тюрьмы «Кресты», я замер от неожиданности. Вот он, «чистейшей прелести прекрасный образец»! Особенно то здание, которое пониже и примыкает к централу неуклюжим боком. Вот к чему прикипела душа первопроходца! Не знаю, чем так мило оказалось сердцу это строение, послужившее первоосновой и примером для подражания –

возможно, там была у них столовка или зачитывались приказы об освобождении – им видней! Но тысячи особняков по этому шаблону облепили Санкт-Петербург и окрестности, есть они, оказывается, и здесь. А как же! Иначе и быть не может. Но давайте, всё-таки, о другом.

Юг замечателен не столько помпезными сталинскими сооружениями, сколько массой интереснейших строений неизвестных архитекторов, поражающих воображение необычностью облика и возвышенным образным строем. Эти здания похожи на гениальные творения самоучек, работающих вне школ и стилей, но нельзя их определить как эклектику в силу своей целостности. Как я не допытывался у местных – что, где и когда, получал лишь стандартный набор ответов, вроде: «турки строили», «это кто-то из наших». Общей чертой тех зданий, которые мне привелось увидеть, было отсутствие симметрии и всяких следов влияния конструктивистских идей. Например, здание могло иметь плоскую крышу, но рассечено узкими щелями арочных проемов, по которым даже одному человеку сложно пройти. Окна в полном беспорядке могли располагаться на стене, но впечатление хаотичности не возникало, возможно, из-за необычного декора, лишний раз подчёркивающего «особость» и оригинальность подобных сооружений. Здания часто опутывали наружные лестницы и украшали смотровые площадки или балконы с причудливыми решётками. В связи с этим мне вспомнилась повесть Грина «Золотая цепь» и дом с перемещающимися

комнатами. Невольные ассоциации возникают сразу, разница лишь в масштабе. И, несмотря на то, что всё описанное Грином подпитывалось крымскими впечатлениями, его повести и рассказы здесь оживают, стоит лишь немного отпустить воображение. Но вот другой писатель, сыгравший в жизни Грина значительную роль, Горький, к этим местам имеет самое прямое отношение – некогда он был здесь рабочим и многое в его первых рассказах и сказках написано по натурным впечатлениям.

Возможно, поэтому мне так нравился Грин и ранний Горький.

Ностальгия по утраченному югу началась сразу же, стоило мне оказаться далеко от тёплого моря, за Полярным кругом, у холодных озёр и рек. Трудно было привыкать к неброским пейзажам болот и нефелиновых пустынь, похожими были только горы. Потом, когда мне случилось переехать в Ленинград, впечатления от юга и севера уравнились, но южные впечатления оказались острее, как и любые впечатления детства. И они снова ожили, стоило мне пройти по набережной на закате солнца, вновь увидеть ночной причал, горящие огнями корабли, заметить светящийся маяк в морском порту. Ночной город – это совершенно феерическое зрелище. Наверное, сорок лет назад было всё не так, и перед глазами представляли иные пейзажи, но возникает ложная память, и ты на мгновения оказываешься снова там, куда невозможно войти дважды. Вот ночной берег во власти жёлтых и зелёных

оттенков, а море – белых, синих и красных; прибрежная волна, зеленеющая на гребне, с шумом накатываясь на камни и волнорезы, плетёт своё подвижное кружево из сиреневатой пены. Люди присутствуют, но как-то незаметно: прибой гасит их голоса, а солёный ветер с моря перебивает запахи из ресторанов и кафе на набережных. Слышна негромкая музыка из небольшого магазинчика, но в ушах почему-то остается лишь низкий бас трубы теплохода. Два дня гудел шторм, в ноябре шторма бывают часто, и на берег выбросило тысячи различных раковин и монет. Накануне я ходил по берегу и собирал раковины. Случалось, находил раковину с живым моллюском, тогда отправлял её обратно в море. Я вспомнил как однажды штормом выбросило на берег больного дельфина-эфалину. Дом у нас стоял рядом с морем, и поэтому дельфин был сразу же и обнаружен среди морской тины и коряг. Он беспомощно изгибался и кричал как ребенок. Мы с отцом помогли животному уйти в море. Говорят, что если коснуться дельфина, то всю жизнь будет везти в любви. Любовь обычно – это синоним счастья, отмеченного улыбочивой южной непосредственностью. Обычно, но не всегда. Счастье многомерно, многогранно, оно осеняет каждую жизнь и своим вектором может быть направлено куда угодно. Человеку, чтобы быть счастливым, достаточно быть достойным счастья. С любовью сложнее, можно купаться в её лучах, совсем не будучи её достойным.

Дельфина, конечно, нужно было просто отпустить в мо-

ре – морскому зверю очень сложно помочь; но для кабанов, лис, оленей и прочей горной живности местные лесничие, не без помощи предприимчивых коммерсантов, организовали вольеры в районе города Адлера. Жителями вольеров становятся малыши, оставшиеся без матери, раненые звери и те, которые по воле случая оказались в неволе и не могут уже жить в условиях дикой природы.

Зоопарков на побережье нет, но минизверинцев – великое множество. Существует даже единственный в России НИИ приматологии с обезьяним питомником, куда недавно, если верить разговорчивому экскурсоводу, сдали избалованную московскую обезьянку, которая попросту извела своих хозяев. Сначала для неё зоологи жарили куриные окорочка, но когда мне довелось там побывать, она уже с удовольствием жевала хлебные корки, как и все прочие обезьяны. Надо сказать, что обезьяны – животные малосимпатичные, живут небольшими семьями, где самец жёстко доминирует. И мне как питерцу было приятно услышать рассказ о паре редких обезьян, привезённых их Санкт-Петербурга, отличающихся исключительной деликатностью и добрым нравом. Местные зоологи смеются: в Ленинграде интеллигентны даже обезьяны. Видел эту парочку и подтверждаю – всё сказанное верно. Ни драк из-за куса яблока, ни неприличных скачек по клетке, ни безобразного попрошайничества. Впрочем, обмануть меня в этом несложно, ведь я и сам обманываться рад.

А поводов обманываться тут предостаточно. Весь юг, соб-

ственно, «повис» на туризме, а, следовательно, любой объект, по принципу Остапа Бендера, может быть представлен в качестве «места для посещения». И каких только небывлиц я тут не слышал. Хотя когда все вокруг заняты только тобой как отдыхающим и стараются наперебой предложить тебе то или иное, чувствуешь себя не совсем уютно. Одним из последних моих путешествий в бытность существования «Союза» была поездка по Золотому Кольцу. Там я не чувствовал на себе хищный немигающий взгляд «большого брата» от туризма. Всего уже не помню, но, кажется, и сервис там был приличный. Правда, по моим оценкам нельзя замерять уровень сервиса, уж слишком я далёк от «идеального потребителя», описанного братьями Стругацкими. Везде, куда я приезжал, были обычные города и обычные жители, которые трудились на своих заводах и фабриках, в больницах и школах. Теперь я понимаю, почему иностранцы, пишущие о России, не исключая одиозного маркиза де Кюстина, отмечают красоту наших людей. Труд придаёт человеку достоинство, которое иначе никак не добудешь. А без него разве можно считать человека красивым? Холёное лицо бездельника всегда как-то особенно глупо и жалко смотрится, сколько бы в нём не было гонора и спеси.

А именно такие лица, капризно требующие к себе повышенного внимания, приходилось наблюдать чаще всего. Я пытался представить, как их можно изобразить на полотне и у меня не хватало фантазии. Даже как участников карнавала,

поскольку в карнавальном облики лица, достойное лечь на полотно, предполагает некоторую загадку, тайну, двойную жизнь – «здесь и потом», интересную личность, наконец, которая не в состоянии сложиться в атмосфере вечного праздника и выходного дня. Собственно, красота юга объясняется тем же: слишком много вдохновенного труда вложено в черноморские курорты и сотни тысяч лет потребовалось природе, чтобы молодые Кавказские горы поросли живописным Колхидским лесом, из дикой стихийной воды возникли реки и водопады, а морская волна обточила миллиарды красивых камней, каждый из которых просится в изысканную оправу. Раз уж я снова вспомнил о море, то нельзя не отметить его особенный цвет. Как-то сразу приходит в голову упоминание Гомера о «виноцветности» морской воды. Нет, в солнечную погоду при спокойной поверхности он лазурный и настолько пронзительно чистый, что поначалу даже не верилось в возможность передать это – во всяком случае, у художников я этого не видел.

В море много донного ила и сероводородных слоёв и шторм окрашивает прибрежную полосу в тёмно-коричневый, почти чёрный цвет, при этом море на глубине по-прежнему имеет холодный зеленоватый оттенок. Ночью, освещённое случайными разноцветными огнями, море приобретает колющий металлический блеск, а лунное освещение даёт всю палитру – от жёлтого до фиолетового.

Считая себя южанином, и, возможно, по праву, я никак не

мог психологически отстроиться от гостевого ощущения, хотя южная жизнелюбивая природа одинаково улыбалась всем, не делая никаких различий между туристами и местными жителями, молодыми людьми и стариками. Здесь, действительно, как-то особенно не чувствуешь ни возраста, ни социального статуса, ни иных различий, которые под этим высоким небом кажутся просто надуманными. Этот удивительный алгоритм всеприятия определяет на этой земле всё: стволы парковых пальм и кипарисов непременно увиты вьющимися сорными травами, рядом с бульваром имени Сахарова соседствует улица 50-летия образования СССР, а водители, вот уж что совершенно невозможно себе представить, пропускают пешеходов. Я, может быть, и поставил бы тут точку, но только это не такой знак препинания, который здесь уместен, поскольку юг подобен надежде, мечте о возможном невозможном, юг – это наше вечно Несбывшееся, ждущее нас, несмотря ни на что

О пейзажах вокруг и внутри нас

Когда неожиданно останавливаются часы, то совершенно по-особенному воспринимаешь время. Во внезапно образовавшейся тишине начинают возникать, наслаиваясь друг на друга, реминисценции прошлого, следы недавних размышлений, контуры неосуществлённого... Тени иных смыслов и надежд поднимаются над застывшей на мгновение обыден-

ностью. Кажется, что сознание ищет причины отключиться от внешнего шумного мира и замереть, любуясь всполохами внутренних воздушных материй.

Конфликтная реальность сворачивается, и духовному взору открываются замечательные пейзажи, сокрытые внутри. Подсмотренные у природы, привязанные к разным событиям, дополненные воображением. Зрительная память хранит их краски, контуры и тени, эмоциональная – тончайшие нюансы чувств, связанные с ними. Они тянутся издалека, из далёкого детства с морским солёным ветром и бесконечным солнцем, тёмными кипарисами и влажными лучами гор. Необъяснимо, но чаще они предстают синими; синий, по Кандинскому, – тоска по непорочному. В синем колорите, сменяя друг друга, открываются пейзажи юга и севера, запада и востока. Море представляется наиболее остро и ярко: Баренцево, словно кипящее, большими цветными пятнами окружившее многочисленные острова; Белое, с ровной серебряной гладью до горизонта, и Чёрное, временами тяжёлое от штиля, кажущееся впитавшим в себя все краски неба, с тонким мыском на горизонте, почти растаявшем в ультрамариновой дымке... Одно мгновение и внутреннему зрению предстаёт уже вязкое, густое ночное небо Самарканда с прилипшими к нему большими мерцающими звёздами и оранжевой Луной, на которой отчётливо различимы все её кратеры и моря. Ещё, и этот пейзаж сменяют унылые километры просек, поросшие мхом, ягелем и рябым бруснични-

ком, тяжёлыми мокрыми проводами, нависшими над лесотундрой... И чем более действительность заполнена стрессом и тревогой, тем глубже и тише открывающиеся видения. И везде – пронзительное одиночество, воспринимаемое как спасение. Возвращаясь из реальности в пространство художественных форм, всегда приносишь туда частицу своей духовной пустыни – безлюдные городские и пейзажные мотивы; мотивы, пожалуй, в прямом значении этого слова, поскольку воспринимаются, как мелодии из твоего заповедного, сакрального мира.

Художник Эмиль Нольде говорил: «...Я имел в один из периодов бесконечно много видений. Куда бы я ни смотрел, природа была одушевлена: в небе, в облаках, в каждом камне, меж ветками деревьев – повсюду пробуждались и жили тихой или кипучей жизнью мои образы...». Любой пейзажист мог бы повторить эти слова. Конечно, пейзажистом становишься в силу определённой склонности характера, своеобразия психического типа, предполагающего определённую замкнутость, равнодушие к успеху и нежелание как-то себя обозначить на лестнице общественной иерархии. Однако нельзя исключить и тот факт, что пейзажный жанр востребован, отмечен современностью как наиболее значимый. Нередко приходится наблюдать стремление людей погрузиться в созерцание природы, которая воспринимается современным человеком уже как иная среда, которую он привык идеализировать, связывая с ней различные мифы. По-

нятно отторжение «массовитым» зрителем «сложных» произведений – напряжённая работа, стрессы, ком жизненных неурядиц, проблемы с окружающими и самим собой – не хочется дополнительных проблем для сознания и без того перегруженного отрицательными впечатлениями. А пейзаж – он из «back side» нашей души, он не «заряжен» на негативные переживания, скорее, наоборот. Альтернативой такой релаксации от всех проблем современной жизни является другая форма эстетического наслаждения, культивируемая в последнее время – стоит нажать любую кнопку TV и с экрана мутным потоком хлынет насилие, похоть, извращения и садизм. Подобное проникновение в сознание генерирует ещё большее одичание и агрессию и уж точно не имеет позитивного начала. Вместе с Атлантидой прошлого ушло и многое из того, что являлось основами нашего социального поведения. Сменился культурный императив; новый, с его эгоистическими установками, преимущественно выстраивается на нашей биологической сущности, отменяет ряд прежних табу и, как следствие этого, пронизан множеством неизбежных конфликтов.

Моральная личность снова оказалась в состоянии прежних «отщепенцев», с их дуализмом существования, внутренней и внешней жизнью. Мир дискомфорта вокруг, и как рефлексия на него – бесконфликтный, метафорически искажённый по лекалам воображения мир внутри.

«Времена перемен» усиливают мистические мотивиров-

ки творчества, доминирование чувства, его спонтанного выражения над вдумчивым, рассудочным построением художественного произведения. Разумеется, это не означает, что такой подход не практикуется. Художника, по замечанию Шкловского, рождает естество, природа – а она богата в своём многообразии, в ней обретается и сосуществует всё. Но время, тем не менее, «проговаривается» именно через таких художников, иногда пренебрежительно называемых «нутряками», то есть чувствующих нутром. Вопрос, чему доверять больше – никогда не будет окончательно решён. По утверждению Бергсона в интуиции художника бессознательно присутствует и весь его опыт, и рассудок, и его нравственная основа. Пейзаж, чаще всего, имеет интуитивное начало, это своеобразный диалог с природой на языке чувств. Конечно, ведь всё, чем владеет художник: все его приёмы и методы изображения – всё это отмечено его субъективным переживанием и направляется мощной эмоциональной волной, порождённой воздействием на него красоты природы, сильным натурным впечатлением. Кажущаяся «простота» пейзажа позволяет предположить об ограниченности возможностей раскрытия в нём философских и мировоззренческих планов, и в силу этого, отрицать глубину проникновения в суть сущего посредством «прямого» изображения природы, окружающей нас.

Но что есть эта природа? Пожалуй, всякий подразумевает под ней нечто своё, субъективное, нередко сильно разня-

щеся друг от друга в силу жизненных обстоятельств, среды обитания, особенностей психики и т. п. Представить истинное, абсолютное, воплощённое из хаоса... Возможно, это затерянный на окраине галактики биомир, случайно возникший в безразличном к нашему существованию космосе, с его катаклизмами звёзд, абсолютным нулём, свернутыми измерениями и миллионами температур зажатой в силовые поля плазмы. Возможно, это способ самопознания Творца этой вселенной. В пейзаже художник представляет мир таким, каким он его понимает; настрой души и осознание себя и места нашей цивилизации, ощущение настоящего и отношение к своему времени – всё это присутствует в любом воплощении зрительного переживания. Глядя вокруг, трудно освободиться от мысли, что всё окружающее тебя исполнено только тех значений, которые имеют смысл лишь в твоей собственной системе ценностей. Я сам не могу объяснить, почему меня так сильно волнуют далёкие станционные огни, падающий снег, тёмная неподвижная вода и ржавая листва на ней. Жёлтые, синие огоньки, лежащие вдоль чуть освещённых рельсов; какие-то железные конструкции над ними, иногда с прожекторами на самой вершине; белые километровые столбы, площадки платформ и мириады мерцающих городских огней вдали. Что-то невыразимое, торжественное захватывает меня, чувства обостряются настолько, что становится трудно дышать. Кажется, что проникаешься такой бесконечностью и полнотой, такой невыразимой радостью и

светом, что ощущаешь, как твоё сознание сливается со всей вселенной в восторге и преклонении перед красотой этого мира. Не всем, возможно, дано видеть и переживать это, но все могут понять и поверить воссозданному на холсте впечатлению.

«Человек – существо метафизическое», – писал Георгий Флоровский. Да, именно, в метафизике нашей души сокрыты и моральные законы, живущие в нас, и волнение от звёздного неба над головой.

Создание художественного образа предполагает, что художественная форма не содержит в себе всевозможных элементов случайности. Жёсткий отбор и обобщения – правило любой творческой работы. Очень часто случайности являются теми мельчайшими пылинками, вокруг которых кристаллизуются события жизни, но уже по законам необходимости. Если сойти на уровень хорошо мне знакомый – написания пейзажа, то тут то, о чём я говорю, обретает особую остроту. Это калейдоскоп случайностей – узоры окружающей природы складываются в невероятных сочетаниях и все они красивы, как в детской игрушке, но промелькнёт некое ощущение, даже его предчувствие, и случайность тумана над прудом становится идеей сюжета или случайный причудливый изгиб ветки – стержнем композиции. А дальше ты уже весь во власти случая – нет большего счастья, пронзительно обнаружив привлекающую тебя эмоциональную доминанту, следовать за самой Природой, сообразуясь с её неведомыми за-

конами и не пытаясь аналитически представить то, что стремишься сделать.

В пейзаже я нахожу только то, что находится совершенно вне меня – это не отражение, ни даже преломление моего «я». Конечно, не всегда случайности – «волшебные ошибки», о которых говорил Серов. Часто вспоминая какое-нибудь произведение, оно кажется тебе сказочно красивым, пока находится в области реминисценций. Когда же перечитываешь его вновь, то в глаза бросаются случайности, о которых не помнишь прежде. То же происходит и с нашими воспоминаниями.

Я помню, как в июне, на Севере, во время отлива обнажился целый город подводных камней, покрытых белым ракушечником; камни выстраивались в величественные арки, причудливые витые колонны, таинственные гроты – и всё это ослепительно переливалось и горело не отражённым солнечным, а, казалось, своим, внутренним светом. Этот город с многочисленными жителями морского дна, стремящимися его покинуть, и стаями бесшумных белых птиц, заселивших его пространство, возник из океана, застыл над его спокойной водой, чтобы через полтора-два часа опять погрузиться в океаническую пучину. Это было похоже на какую-то белую симфонию; камни и вода словно потеряли свой вес, превратившись в музыку. Память совершенно стёрла все случайные обстоятельства, которые могли бы помешать чистоте этого воспоминания.

Когда я думаю о пейзаже, то мне всегда хочется воплотить в нём именно этот, освобождённый от случайностей эмоциональный отклик на увиденное, полный торжества и скрытого от суеты тайного смысла нашего существования. Очень важно, как будет воспринято сделанное тобой другими людьми. Оставив на холсте последний мазок, твой пейзаж становится духовной сущностью, застывшим настроением, ты выпускаешь в мир эмоциональную волну, на которую был настроен сам. И хотелось бы, чтобы эта волна вошла в предметный мир другой личности, не только не нарушая её гармонии, а напротив, укрепляя и утверждая её.

Семён Франк в своей работе о смысле жизни придавал большое значение тем предметам и вещам, которые следуют за человеком. Нашей аурой существования мы во многом обязаны им, безмолвным нашим спутникам, которые помнят руки людей, их создавших, запечатлевших в них свою личность, таким образом поделившись с нами своим внутренним миром. Не навреди другому – это не только правило врача, но и закон для любого из нас, не желающего быть проводником зла.

Когда я слышу разговоры о вторичности или упрёки в отсутствии новизны в тех или иных идеях, определяющих творческое лицо какого-либо художника, мне приходит мысль о соответствии формального подхода к анализу художественных произведений и истины. Ведь не обязательно эти идеи всегда лежат на поверхности и выпукло принимают

форму какого-нибудь «изма». Гений времени так или иначе касается всякого, берущего в руки кисть, перо, карандаш... Что тревожит, что заботит моего образованного современника, если ограничиться проблемой взаимодействия, общения с природой, окружающей нас? Скорее всего, уязвимость, незащищённость природной среды, грубое вторжение в неё цивилизации, ничем пока не оправдывающей своего названия.

Хрупкость этого, как раньше казалось, неизбежного мира, как мира вокруг, так и мира внутри нас. Гордая, величественная Природа, как испуганная лань, всё дальше устремляется от наших городов и сёл, забивается всё глубже в самые потаённые уголки нашей души. Может быть, поэтому так волнуют высокие кроны тополей на синем небе, островки осенней листвы на тёмной воде и убегающие рельсы, зовущие нас туда, вдаль, вслед ускользящей Красоте.

Море на книжной полке

Вслушиваясь в шум морской раковины, я всегда представляю себя бредущим вдоль каменистого берега по мокрой гальке среди набегающих зеленоватых волн, пряного дыхания моря и летающей по воздуху горьковатой пены. Причудливое жилище моллюска, оказавшееся на моей книжной полке, по праву нашло там своё место, поскольку, как и мои любимые книги, рассказывает мне о море, мечте, чае и

несбывшемся. Призрачная реальность, вырастающая из этого шума, значительно явственней утомительного бытового однообразия и докучливого общения, более осязаема и гораздо достовернее, нежели любой пейзаж за окном.

Человека, подчас, пугает открывающаяся перед ним стихия. Помнится, как однажды глубоко и страшно поразило меня расчистившееся от низких облаков небо – синее, равнодушное, источающее прожигающий насквозь холодный свет космоса. Это гнетущее состояние собственной малости, случайности, абсолютной незащитности, пронзило меня молнией сознания – я ощутил себя доисторическим человеком, впервые пришедшим к мысли о спасающем божестве.

Море из раковины – тоже стихия, едва ли не большая, ибо вмещает и нас, а именно потому и не может быть нам враждебна.

Я часто думаю, каким бы было оно, моё море, если бы я его никогда не видел, если бы долгие годы не жил рядом. Море – мой философский камень, превращающий в золото всё соприкасающееся с ним, но находящееся вне времени. Я помню его и в зелёном обрамлении кипарисов, и в строгой оправе желтоватых прибрежных скал; даже не нужно закрывать глаза, чтобы увидеть, как мерцает миллиардами искр и бликов его разноцветная поверхность, как играет на солнце каждый камешек на его берегу. Здесь вокруг всё пропитано солнцем: и бежевая дымка, и серебристый ручей с гор. Луга золотятся солнечной росой, и ослепительно горят горы.

Шелестящее морское эхо будит мои прежние впечатления, и они плещут и переливаются, словно волны, тысячами тысяч искорок памяти.

Очень сложно объяснить устойчивость некоторых впечатлений, которые тянутся через всю жизнь, обогащаются деталями и разнообразными оттенками. Вот длинная белая стена, бегущая вдоль выбеленной зноем дороги. Радостно и легко идти по горячим пыльным каменным плитам на зов неведомого, к влекущей неизвестности. А справа нависает стена, заключившая меня между собой и морем. Стена-оберег от чёрных скоплений коробок домов и машин, от смрадного воздуха городов. А здесь, по эту сторону стены, только море и заманчивые горизонты с воздушными замками из облаков...

Вот ночные корабли, стоящие у пирсов в мареве иллюминаций, пришедшие из какой-то другой, сказочной жизни, и наутро уходящие туда же. Длятся секунды, минуты, наваждение не исчезает – звенят цепи, хлупает вода, воздух наполнен какими-то скрипами, приглушёнными голосами и музыкой, мелодию которой невозможно запомнить.

Как бессловесная притча о тленности всех сокровищ, светится матовой зеленью тяжёлая медная монета, выброшенная морем на прибрежную гальку. Её поверхность утратила все надписи, все нанесённые изображения – к суетному обличью монеты прикоснулась бездна, преобразив её сущность. И она снова вернулась в мир напоминанием об истин-

ном богатстве, сокрытом в глубине нашей души.

Не раз я пытался всё это изобразить на холсте, но что-то неуловимо важное всё-таки оставалось невысказанным. Но часто случалось и другое: неожиданно в мою работу врвался ветер с моря, с его солёной свежестью, чистотой прозрачного утра. Сразу вспыхивали света, зацветали тени, краски начинали гореть ярче, и всё вокруг пропитывалось солнцем.

Море мне навсегда подарило ощущение тайны. Сделало меня суеверным, научило относиться ко всему вокруг как к живому, наделённому скрытым от людей смыслом. Ведь только проникая в него можно постигать окружающее, отображая его на холсте. Прислушайтесь, и вы услышите, о чём говорит море. Для каждого из нас у него свои слова, своя музыка, свои миражи. Стоит только отвлечься от сиюминутного, как перед нашим мысленным взором вырастают руины затопленных городов; тёмные, такие непохожие на земные, подводные хребты и горы; тянутся к солнцу колючие ветви кораллов... И совсем рядом, под километровой толщей воды, колышется густой ил, светятся диковинные морские животные, и вырастают в дно остовы погибших кораблей.

Есть вещи, невыразимые в словах, неотображаемые на холсте, непереводимые в музыку. Целое всегда больше, нежели сумма его частей, и в этой невидимой разнице обычно заключена вся его суть. Так и моё воображаемое море – многомерное и непознаваемое, хотя и бесконечно близкое – серебрится ускользающими впечатлениями, скорее, их

теньями, которые невозможно удержать, полюбоваться ими. Может быть, потому так и манящи все эти возникающие на мгновение фантомы. Эти высокие голоса морских птиц; рокот набегающих волн и шорох уходящих; гудение ветра и глухие, неведь откуда приходящие, пульсирующие звуки моря. Под аккомпанемент этой природной симфонии, калейдоскопическую смену морских пейзажей, освобождаешься от всего случайного, обременительного, от гнетущего тревожного беспокойства, словно морская бездна прикоснулась и к тебе, подарив частицу своего величия и силы.

А, может быть, вновь возвращаешься к себе, к своему вечному и неизменному «я»...

Несколько слов о творчестве и счастье

«Тот, кто ничего не слышит, ничего не знает, и ничего не делает, принадлежит к огромному семейству сурков, которые никогда и ни на что не годились».

«Сурки». Франсиско Гойя

Если долго и внимательно рассматривать какую-либо вещь, то всегда можно обнаружить в ней нечто такое, что заставит по-новому взглянуть на неё. Необходимо только забыть о функциональном назначении вещи, отвлечься от типического и перед нами в какой-то степени предстанет скрытая изначальная сущность предмета, если и не собственно

«вещь в себе», то хотя бы одна из граней её обратной стороны, не приметная с обычных углов зрения. Следуя этому правилу, размышляя о живописи, о творчестве, стоит забыть обо всех тех высоких словах, что уже сказаны и обо всех тех предубеждениях, что не высказаны вовсе, а остаются с каждым из нас, если хотя бы единожды случилось об этом думать. Прислушаемся к шорохам, взглянемся вслед ускользающим чувствам и впечатлениям, и если и не постигнем тайны творчества, то хотя бы на шаг приблизимся к пониманию того, что в нём так притягивает, зовёт и увлекает, отбирает время и силы, а иногда и саму жизнь.

Творчество, имеющее место в любой деятельности, позволяет пережить состояние, где отсутствует течение времени и влияние внешнего мира, в котором отступают повседневные заботы, не думается о будущем и не помнится прошлое – незамутнённое состояние чистого созерцания бездны, удивляющей любого увидевшего её, своим величием и непостижимостью. Заглянувший в неё теряет свободу, но не в смысле подчинения своей воли внешним обстоятельствам, а в том, что отныне находится всецело во власти совершенно неосознанной, бессознательной необходимости.

Возможно, это и есть тот заветный «магический кристалл», при рассмотрении через который всё вокруг исполнено какого-то необычного смысла и значения, будь-то растущая трава или летающий тополиный пух, скользящие вечерние тени, либо плывущие кучевые облака.

Я всегда ощущал, что подобный взгляд даёт нечто большее, нежели просто более глубокое проникновение в суть вещей. Что-то остаётся в остатке, и это «что-то» можно было бы назвать счастьем, если бы под этим словом не подразумевалось вполне определённое представление, однозначно закрепившееся в общественном сознании.

Сколько раз приходилось слышать, что несчастны все поразному, а счастливы – одинаково. Но любое знание носит субъективный характер, даже если идёт речь, казалось бы, об очевидных вещах. Каждый принимает на веру лишь то, что как-то согласуется с его опытом и мировоззрением.

Мой опыт подсказывает мне, что человек, имеющий полную свободу безразличного выбора, не может быть счастлив. А счастье каким-то образом связано именно с ограничениями и самоограничениями, которые направляют наши чувства и ощущения не по пути возможной реализации желаний, а в сторону их предвосхищения – вероятностной линии, целиком лежащей в области нашего воображения.

Счастье, обрётённое в творчестве, замечательно своею подлинностью, отмечено неизменностью и полнотой ощущений и никогда не отравлено мутными импульсами чувственности, а радость творчества похожа на ровный мягкий свет, освещающий не столько лицо, сколько душу.

Работая над этюдом, так или иначе вступаешь в диалог со всем, что тебя окружает. Мир вокруг не просто одушевлён – он приветствует тебя! Зрительные образы, запечатле-

ваясь в памяти, удивляют своим совершенством; впечатление от вещей и предметов почти всегда освобождено от случайностей, они предстают преобразёнными в своём торжественном величии и блеске. Охваченный восторгом и трепетом, наблюдаешь, как хороводят тени по лесной поляне или играют солнечные зайчики на стенах, заполняя всё помещение радостным искромётным свечением. Восхищаешься, как прихотлив и загадочен узор переплетающихся ветвей, нависших над головой и погружённый в вязкую голубизну неба.

Видя, как люди мучаются надуманными проблемами, томятся от одиночества, негодуют на политиков, одержимы ненавистью к «ближним», понимаешь, что творческая жизнь – один из возможных путей к счастью, доступному в той мере, в которой желаешь его обрести.

Город у моря

«... лучшие жить в провинции, у моря...»

И. Бродский

Я бы, пожалуй, не смог сказать наверняка, когда этот город предстал передо мною, возникая из заповедных глубин памяти или открываясь наяву во всём своём блеске и великолепии. Иногда, когда мне казалось, что впереди уже нет никакого пути и жизнь не в состоянии одарить меня более ничем, его высокие остроконечные башни поднимались над

моими разочарованиями и невзгодами, а задумчивые маяки манили своими разноцветными огнями, скользящими над морем, словно лучи надежды.

Такой город есть, наверное, у каждого. И необязательно только в душе. Бесконечный мир, являясь в бесчисленном многообразии форм и сюжетов, остаётся в нас лишь незначительной своею частью, созвучной нашим мыслям, чувствам и настроениям. И найдётся не так уж много мест на земле, где мы, если и не оставляем своё сердце, то, во всяком случае, наделяем увиденное своими ожиданиями, обретая в них ещё одну свою жизнь, такую, какой бы мы хотели её видеть.

Мой город у моря, скорее всего, провинциальнее и меньше, чем любые другие подобные города. Только это вовсе не делает его сколько-нибудь беднее и проще. Он сложен и многолик и примиряет между собой все эти непохожие друг на друга белые улочки, набережные и площади, связывая их воедино, соединяет в сознании и памяти зелень кудрявых кипарисов, оливковое кружево магнолий и рыжеватое ожерелье реликтового ливанского кедра.

Особенно город хорош ранним утром, когда ещё украшен роскошной мантией сияющих огней, а влажные звёзды уже начинают терять свою ночную силу. Можно не отрываясь следить как стекают с гор прямо к нему в ладони фиолетовые струйки протооблаков, которые подхватывает лёгкий морской бриз. Эта туманная взвесь клубится над чуть различимым узором дорог и тротуаров, впечатанным в глубокую

синеву газонов, на которой торжествует дружное цветение, издали напоминающее пёструю живую пыль.

В этом моём городе никто не знает и не замечает меня. Только разве в том есть какая-нибудь необходимость? Здесь ни к чему изрядно поднадоевшие маски и роли, из той, из привычной, жизни, не нужно являть радушие и дружеское участие тем, кто вполне может обходиться без него, и не надо томиться смятением чувств, отвлекая себя от главного: гор, моря и белых не прямых улиц, соединяющих горы и море.

Тут судьба примиряет тебя с несбывшимся, позволяет ощутить незавершённое, прочувствовать утраченное и побывать в сотнях иных жизней для тебя вовсе не предназначенных. И всё оттого, что тут ты совершенно свободен, свободен даже от себя, живущего очень далеко отсюда, по ту сторону туманных гор и бирюзового моря, где не случается ни солнечного дождя, ни солёного ветра с примесью облаков, оставляющего на краешках губ жгучую полынную свежесть.

Кто придумал, что счастье – это обязательно любовь, крепкая дружба, признание или богатство? Чтобы быть счастливым, вовсе ничего не нужно, разве что горные склоны, отражённый в воде блеск жидких фонарей и шум морской волны у старого пирса, поросшего водорослями и ракушками. И разве не счастье, когда никто не окликнет и не остановит тебя, никто не нарушит твоего внутреннего очарования и не развеет ожившие иллюзии ни грубостью реалий, ни сомнением. Здесь нет тех, кто знает о твоих обидах и

потерях, горестях и боли, как нет и ничего из упомянутого. Только свет, плеск волны и причудливые облака, перетекающие от одной горной вершины к другой.

Только здесь убеждаешься, что счастье – ярко-жёлтого цвета. Оно тут всегда рядом, бежит за тобою золотистой лунной дорожкой, оседает на коже ровным лучистым солнцем, горит в ночи длинными окнами зданий, за которыми сокрыто какое-то лёгкое движение, слышен полушёпот и негромкий смех.

Город у моря начисто лишён временного измерения: здесь события не происходят, а существуют, являясь пред тобой, когда ты сам того пожелаешь, и всё происходящее ограничивается лишь твоим интересом и вниманием к нему.

Разглядывая, как желтоватая пена прибоя оседает на прибрежной гальке и набегающей волной снова уносится в море, понимаешь, что мгновение может длиться веками и только наша мысль способна приводить в движение неповоротливый маятник времени. Возможно, поэтому здесь не ощущаешь возраста – своих лет не замечаешь не только ты, но и море, и горные вершины над тобой. Пожалуй, даже дома, заполонившие всё пространство от берега до скалистых горных уступов, существуют вне временных координат. Хотя, если разобраться, то в городе у моря – всё условно, всё подчиняется нашему внутреннему календарю, нашим субъективным системам измерений. И горы, и бледная даль горизонта, и небо. Да, даже небо, поражающее своей недоступностью,

бездонностью и величием, здесь нисходит до человека, опускаясь так близко к земле, что даже можно потрогать руками его влажную, волокнистую суть.

Где же ещё, в каком городе, в названиях улиц слышатся отголоски твоих воспоминаний, а в облике домов, мостов и фонтанов присутствует твоё воображение и фантазия?

В городе у моря всё – мечта, даже если этой мечте привычнее существовать в тяжеловесной материальной оболочке. Ведь лишь мечте дано право строить нашу жизнь и управлять ею, поскольку всему, что не озарено зеленоватым светом мечты, положен удел вечно не выходить из тени, оставаясь либо серой чередой будней, либо тщетой и прозябанием. Оттого и стремится наша душа в свою полуденную столицу – тихий городок у моря, где вершится наша личная история, где её неясные, приблизительные очертания обретают чёткость и определённость и где так легко и естественно приходит к нам способность любить и ценить жизнь.

На рубеже сна

Когда сон опускается на ресницы и шепчет на ухо какие-то непонятные слова, память нечаянно отпускает нас, неторопливо расплетая все дневные тугие или завязанные наспех узелки, и останавливается лишь там, где совершенно отсутствует сюжет. Возможно, что таким впечатлением может оказаться спящий приморский городок или оставленный

дневной суетой ночной порт, в котором давно умолкли все звуки, кроме лёгкой, беззвучной музыки разноцветных огней. Да, где-то здесь, совсем близко от хрупкой кромки случайного сна и притаился тот невидимый дирижёр, по воле которого зажигаются алмазные лампочки на длинных ажурных фермах, мерцают красные огоньки на кряжистых кранах и жёлтыми быстрыми огненными блёстками трепещет всё обозримое тесное пространство вокруг армады слипшихся кораблей.

Взмахнёт дирижёр своей невесомой палочкой, и померкнут бесцеремонные заботы дня, а вместо них затеплится розоватый неоновый свет на стальном кружеве сплетённых тросов и проводов. Взмахнёт ещё, и навалится дрожащая феерия летящих фонарей на темноту сомкнувшихся век и на угасающее сознание, постепенно погружающееся в пространство подступившего сна.

Только это не тяготит, не давит, напротив, душа устремляется вверх вместе с завораживающей симфонией огней, туда, где соединяются в узкой мутной полосе две бескрайние стихии: море и небо. Ведь только там, за гранью земли, на холодной головокружительной высоте можно напиться прозрачной тайны проплывающих мимо галактик и ощутить внутреннее родство с бессмертным сиянием, пронзающим внезапно открывшийся космос. Дабы потом, пройдя через вязкий эфир захватившего сна, встретить нарождающийся утренний свет, неожиданно узнав в нём какую-то незамет-

ную частичку себя.

Осенние розы

Для сокровенного не существует подходящих слов. Как нет их и для того, чтобы объяснить – почему любишь, за что ненавидишь, отчего так волнует утренняя дымка над мокрым лугом и зачем манят куда-то протяжные гудки убегających вдаль поездов. Наверное, могут найтись какие-нибудь слова, припасённые для такого случая, только точно не будет в них никакой правды.

Вот за что я так люблю позднюю осень? Возможно, за пряный аромат палой листвы, поменявшей яркое золото сентября на тусклую потемневшую медь, может, за причудливую фиолетовую паутину мокрых кустарниковых ветвей, а может за палевый закатный свет, скупно подсвечивающий помертвевшую землю.

Хотя истинное чувство верит, не требуя свидетельств и подтверждений, светится само по себе, не отражая никакие иные лучи. И радуется сердце гулкой осенней пустоте, холодному дыханию ветра и витиеватым древесным кронам, пронзающим, подобно обнажённым нервам, низкое хмурое небо, дабы знало оно о бесчисленных требах земли.

Но главное, пожалуй, совсем в ином. Если остановиться и внимательно прислушаться, то за звоном редких капель, слетающих как водяные почки с ветвей деревьев, за шелестом

мокрого асфальта и глухим городским гулом можно расслышать негромкую мелодию ноября. Её звуки проникновенны как зыбкий вечерний ультрамарин, сквозящий промеж танцующей непогоды, они весомы и торжественны, словно тяжёлая хвоя елей, впитавшая в себя все блуждающие тени от жидких фонарей, и тревожны, как затуманенный, мерцающий разноцветными огоньками, далёкий горизонт, прилипший с севера к белому пологу зимы.

Эту мелодию не в состоянии заглушить ни шум машин, ни гомон улиц и площадей. Воздухом, пронизанным этой мелодией, легко и свободно дышать. В ней нет тоски и уныния, напротив, она таит в себе столько жизнеутверждающей силы и подкупающей простоты, что не хочется верить, что осень – это конец года, венец трудов природы и некий человеческий итог, который всякий из нас принимает из рук ноября с невольной грустью и сожалением. Особенно я отказывался этому верить, когда увидел мелкие жёлтые розы на окраине случайного парка, высаженные, очевидно, там, где раньше простирался дикий газон, изрезанный стихийными тропами, уходящими в лес. Розы держали свои нежные лепестки невысоко над землёй, отгородившись от неё глянцевой рябью чуть подвядшей листвы. Их зеленоватые глаза смотрели мне прямо в лицо и была в них не только нега и очарование, но и ещё что-то, для чего у меня сразу не нашлось подходящих слов. Чувствовалась в них какая-то иная, своя правда, которую невозможно соотнести с моим прошлым челове-

ским опытом. Только душа гораздо тоньше и глубже нашего разума и ей совершенно не нужны никакие слова. Мне отчего-то показалось, что та проникновенная музыка осени происходила именно отсюда, от этих чудных растений, противопоставивших свою изысканную красоту слякоти, темноте и ветру.

Казалось бы – зачем они здесь, отчего не нашлось для них иного времени? Ведь какая удивительная судьба у этих дивных созданий: зацепившись за краешек остывающей земли, заполнять волшебными звучаниями всю окрестную промозглую хлябь.

Я наклонился к ним поближе, так, чтобы можно было почувствовать их свежее дыхание и разглядеть в кружевах невесомых лепестков оранжевые зрачки их зеленоватых глаз. Каким-то необъяснимым родством повеяло от этих поздних цветов, будто бы им, как и мне, знакомы и горечь разочарований, и непонимание, и ощущение не востребованное™, и вечная грусть от несбывшегося, утраченного счастья, заблудившегося в иных пространствах и в иных временах.

Было больно смотреть, как они, никогда не знавшие лета, совершенно по-летнему тянутся своими солнечными бутонами навстречу усталому светилу, минующему липкий горизонт, отяжелевший от сырости и от обнажившихся громад окраинных многоэтажек. Наверное, оттого так волнует и будоражит воображение их чарующая осенняя симфония, ибо

в ней различимы не только шорохи опавшей листвы и минорное соло ветра, но и хрустальные звоны палящего зноя и доверительный лепет летучего бриза с Балтики, оказавшегося здесь чтобы слегка прикоснуться к прекрасным золотистым цветам. Никакой бриз, конечно, не прилетал сюда на своих эфирных крыльях, вместо него их красотой довелось полюбоваться мне.

И я, не отрываясь, смотрел и смотрел на эти осенние розы и внимал их музыке, витающей всюду. О чем же она ещё?

Собственно, я её теперь почти не слышал, а мимо меня мелькали какие-то лица и города, далёкие страны и острова. В них некогда была оставлена частичка моей души, разве что память надёжно перекладывала все эти хрупкие слои глухой и нежнейшей ватой, чтобы легче их сохранить или, быть может, вернее забыть. Теперь они представляли передо мной, и я не всегда успевал следить за их внезапным появлением и сменой.

Память неожиданно возвращала мне и совсем забытое и то, что всегда обретается где-то рядом, то ли между вздохом и выдохом, то ли в тесном промежутке неуловимого движения век. Не пойму отчего, но беспечная юность возвращалась не цветущими садами моей первой ленинградской весны, а мокрым вечерним асфальтом пустынной Октябрьской набережной, матовыми трамвайными путями, тонущими в лиловой туманной дымке, и сырыми домами с жёлтыми безразличными окнами. Как же я смог забыть, как на тротуарах

тлела размытая неоновая акварель, собирающаяся в лужах в яркие дрожащие красочные сгустки, когда вверху, у самых крыш, дружные тени, сцепив свои мягкие мохнатые лапы, брали вечерний город в тесное полукольцо, развёрнутое к чёрной и неподвижной Неве. Трубящий ангел с золочёного шпиля был почти не виден, только его нервные крылья несли куда-то этот осенний город, туда, где не было ни зимы и ни лета, и где он весь мог разместиться между двумя ударами сердца.

А над городом царила симфония поздней осени, и робкие фонари вырывали из темноты газона нежные золотистые цветы.

Тогда, в мою первую ленинградскую осень, я ещё не догадывался, какие странные знаки посылает судьба, и не мог представить, что ими окажутся прекрасные жёлтые розы, заставляющие нас полюбить осень, полюбить осень неизвестно за что.

Чужая жизнь

До тех пор пока тебе не случится побывать в чужой жизни, никогда не сможешь понять, что же из себя представляет твоя собственная. Я в чужой жизни оказался внезапно, вдруг, словно бы провалился в волчью яму при безмятежной прогулке по утреннему лесу, наивно любуясь весенними цветами и травами, тяжёлыми от алмазной росы.

Чужая жизнь встретила меня затхлым коридором, сплошь увешанным ветхой одеждой и короткой отставшей половицей, издающей падающий глухой звук, словно это была запавшая клавиша на старом рояле. На меня неприязненно смотрели и грязное подслеповатое окно комнаты, выходящее в бледный двор-колодец, и ржавый велосипед, подвешенный к стене. Те узнаваемые предметы и то, что раньше не вызывало у меня отторжения: книги, нотные тетради и статуэтка Достоевского на комодe – здесь начисто не принимались сознанием и представлялись бесконечно чуждыми, далёкими, существование которых совершенно невозможно в моём привычном и понятном мире.

«Тик-так», – тикали настенные часы, только мне казалось, что даже время тут как-то звучит иначе.

Скоро заметив, что здесь мне попросту нечем дышать, я начал отчаянно карабкаться по непонятным мне мыслям, мечтам и впечатлениям, в надежде поскорей преодолеть чужую жизнь и снова выбраться туда, где моей головы осторожно касается утренний лес и застенчиво смотрят в душу весенние цветы и травы.

Когда я всё-таки оказался там, наверху, и взглянул в поглотившую меня яму, я понял, что понятия «верх» и «низ» весьма и весьма относительны. Там, в глубине ямы, я заметил незнакомого человека, с недоумением смотрящего вниз, ко мне, и очевидно наблюдающего рядом со мной не утренний лес, полный весенних трав и цветов, а короткую запав-

шую половицу и ржавый, подвешенный к стене велосипед.

Ключ

У меня дома, в нижнем ящике шкафа, давно валяется странный ключ, который не подходит ни к одной двери. Я не помню, откуда он взялся и для чего он там, однако с некоторых пор ключ всё чаще стал напоминать о себе. Он заставлял меня думать о нём и о той двери, за которой уже не будет ни горя, ни отчаяния, ни разочарований, ни нелепых надежд. За этой дверью не бывает потерь и не случается недоумений; там всякому уготовано безусловное равенство, всеторжествующее и абсолютное, такое, что для всех вошедших уже не будет иметь никакого значения ни возраст, ни талант, ни происхождение, даже собственное имя станет более ненужным. Изготовить такой ключ мог, несомненно, только в высшей степени искусный Мастер. Не надо быть посвящённым во все таинства Его ремесла, чтобы понять, что Он вложил в него всю свою душу, которая стала на некоторое время моею собственной. Но только это не единственное, что связывает меня с Ним. Всё своё время я занят изготовлением подобных ключей, разве что их владельцами становятся не люди, а события и сущности, имеющие иную плоть. И моей работе тоже назначен исчислимый срок, по истечению которого она уже не будет иметь никакого смысла. Как не имеет смысла всё временное и переходящее.

Любуясь прихотливыми формами и совершенством моего ключа, мне становится жалко вдохновенной работы Мастера. И осознание этого – разводит меня с Ним. Мне трудно понять, какая такая надобность заставляет Его разменивать свою вечность на мгновенность собственных созданий, разве что невозможность разглядеть то самое слово, которое Он положил в начало всего. Мы же, обращённые к Нему и непричастные к любым метаморфозам времени из-за краткости своего бытия, способны прочитать это слово и, возможно, даже заметить в нём ошибку. Это, пожалуй, будет единственным, чем мы сможем преодолеть свою очевидную недолговечность и разрешить извечную смысловую неопределённость своего существования.

Эхо

Мелодия вчерашнего вечера, словно дальнейшее эхо, то возникала отдельными тактами, теряясь во множестве иных звучаний, то вовсе переставала быть звуком, воплощаясь в краске, мелькании, запахе. Пожалуй, она была не просто музыкой; её ноты хранили в себе и усталые переливы прибоя, и чуть слышное гудение проходящих мимо кораблей, и низкие звоны цепей на бетонных пирсах...

Я напрягал память, будоражил своё воображение, перебирая все знакомые мотивы в надежде восстановить утраченное, но тщетно – мелодия ускользала и более не желала ни-

каких повторений, оставляя меня со своим далёким и неразличимым эхом.

Это было похоже на моё недавнее наваждение: ослепительно белый город показался в ликующем сиянии восхода и вскоре исчез неизвестно почему и непонятно куда. Я удивлённо бродил по незнакомым кварталам из белого камня, постепенно спускаясь к морю по изогнутой улочке, вымощенной искрящимся нефритом. Вокруг меня громоздились сверкающие арки с витыми колоннами и дивные ротонды из горящего каррарского мрамора. Я шёл вниз, к морю, и даже не заметил как на своём пути потерял только что обретённый белокаменный город с нефритовыми мостовыми. Он вновь погрузился в моё несбывшееся, канул туда, откуда и был вызван далёкой мечтой о лазурных морях и белых солнечных городах, которые любят меня и терпеливо ждут.

Осталась лишь звучать в душе проникновенная негромкая музыка, повторить которую не в состоянии никакие оркестры мира. И она, словно далёкое эхо несбывшегося, звала меня туда, где правда смыкалась с вымыслом, а действительность казалась неотличимой от мечты.

Наяда

Она приподнялась над белоснежным кружевом морской пены, и я увидел её так близко, что мог легко разглядеть её блестящие гладкие волосы, из которых упрямый прибой

тщетно пытался заплести множество серебристых косичек. Она заметила моё присутствие, слегка повернула лицо и посмотрела на меня из-под своих длинных ресниц, густых и влажных, как морская тина. У неё были тёмно-синие глаза, глубокие и волнующие, как море. Губы её, похоже, никогда не знали улыбки, и это придавало всему её облику особенную неповторимость.

«Здравствуй, наяда», – хотелось мне поприветствовать её. Но фразы не получилось, поскольку с ней, наверное, никто бы не смог разговаривать на человеческом языке, настолько отличалась она от любых земных незнакомок. Тело наяды, вопреки расхожему заблуждению, не было покрыто серебристой рыбьей чешуёй, а весело играло текучим гляncем и ровным загаром как у обычных девушек юга. Пожалуй, излишним было бы говорить о её необычной красоте, достаточно сказать, что это лицо будет невозможно забыть никогда. Взгляд её пронзал меня насквозь, он проникал всюду, достигая самых заповедных тайников сознания, поросших забвением и от которых давно уже были потеряны все ключи и позабыты все былые заветы.

Это был взгляд стихии, наделённой разумом, чьей воле подчиняешься не по принуждению, а согласно собственному выбору. Взгляд её был подобен солнечной дорожке на морской глади. Точно также как солнечная дорожка, струился он из бесконечной голубой дали, растворяясь в душе ощущением причастности к тайнам глубин и бескрайности мор-

ского простора. В эти мгновения я словно бы не существовал отдельно от блистающей искромётной волны, дымки гор, осевшей прозрачным ультрамарином на безоблачных окраинах неба, утреннего бриза, наполненного свежим дыханием моря. Я слышал, как переговариваются дельфины и растут кораллы, чувствовал, как течения пробивают себе дорогу в тёмных толщах тяжёлой воды, наблюдал, как превращается обычный песок в драгоценный жемчуг, преображаясь в створках раковин моллюсков. Я был всем, и меня почти не существовало, что по сути одно и то же. Так продолжалось до тех пор, пока наяда не исчезла, не скрылась в кружевах из белой морской пены.

Я ещё долго смотрел на морскую рябь, щедро пропитанную солнцем, смотрел до боли в глазах, но наяда больше не появлялась.

Если бы в тот момент меня спросили кто я и откуда, думаю, что я просто не понял бы вопроса. Столько всего вместилось в эти мгновения, что мне казалось, будто за это время я прожил ещё одну удивительную жизнь, целиком связанную с морем.

И теперь, глядя в морскую даль, я уже никогда не буду просто сторонним наблюдателем, следящим за дальними кораблями и играми дельфинов, а буду неотъемлемой частью этой изменчивой голубой бездны, пока не погаснет в моей душе тот взгляд наяды, который соединил меня золотой солнечной дорожкой с морем.

Конец года

Когда на часах года без пяти двенадцать, даже самые заурядные вещи приобретают волнующий блеск ёлочной мишуры и душа привычно замирает в предвкушении праздника. И действительно: вокруг совсем не остаётся чего-то обыкновенного и узнаваемого. Преображаются деревья, запутываясь заиндевелыми ветвями в мерцающих гирляндах; дома соревнуются в новогоднем убранстве витрин и окон, вонзая в тёмное небо светящиеся короны из четырёхзначных цифр; а мосты, решётки и фонари ярко сияют электрическими узорами и красочными щитами, за которыми становится неуловимым их утилитарное предназначение. В это время мы не ждём никаких событий, не отвлекаемся на бессмысленную суету, а всецело попадаем под влияние чего-то внешнего, торжественного, отмеченного ликующим мишурным блеском и мерцающим узорчатым кружевом разноцветных праздничных огоньков. Хотя праздник, собственно, уже начался. И тут дело даже не в извечном мотиве предвосхищения новизны и осязаемости желаний, а в том чудесном преображении, когда душа, обращённая к будущему, являет своё подлинное обличье, поскольку в будущем неразличимы ни пустые хлопоты, ни заботы повседневности, ни тяготы преодолений.

В этой предновогодней феерии не существует ничего

неисполнимого. Чуть отклонившаяся влево от цифры двенадцать минутная стрелка обещает столько счастья и радости в предстоящем году, что поневоле начинаешь верить в ведомое за ней вслед будущее, в то, что оно и впрямь не обманет, не разочарует, не подведёт. И кажется, что нет и не может быть ничего, что помешало бы исполниться тому, что пророчит торжествующий город в лучистых одеждах; величественная река, наполненная светом просыпавшихся в неё огней; медленный снег, пропитанный радугами фейерверков и сиянием праздничных гирлянд.

Некоторые утверждают, что радостью невозможно поделиться. Возможно, это и так, особенно тогда, когда ты не готов оказаться во власти чужого праздника. Но сейчас, в эти последние минуты года, ничто не мешает ощутить предстоящий праздник как своё личное торжество. Особенно, когда к тебе на рукав опустится маленькая гостья с небес – ажурная снежинка, тлеющая беглым многоцветием городских огней. Она, аккумулируя в себе всё блуждающее уличное электричество, не только являет свидетельство Абсолюта в безупречной правильности форм и пропорций, но и успевает поделиться с тобой чем-то особенным, что навсегда останется неизречённым, непередаваемым в слово.

Да этого, собственно, и не нужно. Просто кажется удивительным, что душа, наполняясь упавшей с небес радостью, умноженной светом притихшего города, оказывается столь чувствительной к таким невольным и невинным мелочам. А,

может, это и не мелочи вовсе. Пожалуй, именно так в нашу жизнь и вторгается счастье, напоминая случайными вещами о своём незримом присутствии, уверяя, что оно здесь, рядом, совсем близко, стоит только чуть качнуться часовому механизму, направляющему хрупкую минутную стрелку в будущее.

Ностальгия

Я сидел у окна недорогой гостиницы и наблюдал через мутноватое стекло как просыпается южный город, сонно стряхивая с себя влажную беззаботную ночь. Ещё немного и моя комната будет залита щедрым итальянским солнцем, а воздух задрожит от раскатистого гула многозвенных колоколов. К этому очень быстро удаётся привыкнуть и уже почти не вспоминаешь про замысловатые узоры на морозных стёклах и о дальнем городском горизонте, сливающимся с Балтикой, который с моего высокого питерского этажа бывает удивительно похож на полоску просыпанной морской соли.

Неужели ностальгия – это то, что способно возвращать меня назад, в мои прежние привычные горизонты, в ту незавершённую реальность, которая предопределялась мне изначально, вместе с дарованными обликом и речью? Скорее всего, дело тут совершенно в ином, ибо невозможно объяснить, отчего здесь, среди буйного цветения полуденной земли, так избирательна память, отчего не грезит она ни моим

утраченным счастьем, ни былым успехом, ни светлой доверчивой юностью. И почему так отчётливо видны прорастающие из её глубин узловатые ветви старого яблоневого сада, в живом кружеве которых запутался маленький домик детства с коричневым палисадом; бурые отложения быстрой тёмной реки, которая видна из всех его окон; и тихий, пробившийся на самом дне оврага родник, надёжно укрытый от случайного взгляда лопухом и чертополохом. Неужели эти, будоражающие сознание низкие ноты меланхолии, звучащие под жизнеутверждающий мотив солнца, моря и звенящего воздуха, и называются тем торжественным и величавым словом – ностальгия?

Тогда как ностальгия представлялась мне чем-то похожей на надежду, разве что переменная времени в её хитрой и непостижимой формуле суть величина неопределённая, даже, пожалуй, мнимая, и к тому же непременно с отрицательным знаком.

Странно, но чем глубже я проникался иной культурой и чем ближе воспринимал чужой язык, тем чаще в моей памяти с её заповедного дна всплывали туманные воспоминания, неясные и быстрые, как дымки полярных сияний, и просыпались, включаясь во внутреннюю речь, какие-то полузабытые строки давно прочитанных книг, обрывки стихотворений, заученных в безоблачном детстве...

Душа моя – Элизиум теней,

Теней безмолвных, светлых и прекрасных...

Да, тени прошлого так же светлы и лучезарны как и любые фантомы будущего. Все невольные обиды – давно угасли, опасения – ушли, непонимания и недомолвки с избытком восполнены и завершены временем. Прошлое, при всей его фрагментарности, лишено дробности, оно цельно и метафорично, в самой его организации и устройстве заложен принцип обратной перспективы времени, когда всё дальнее становится близким, малое – большим, а случайное, нарушая все законы причинности, представляется важным и судьбоносным, заставляющим по-новому смотреть на окружающий тебя мир.

* * *

Боже, сколько цветов рассыпано по долине Валь д'Орча! Только нет среди них ни одного, что сохранила моя память с тех пор, когда ромашковые и васильковые поля казались мне столь же необъятными, как звёздное небо, а ручейки представлялись реками, которые лишь по недоразумению не были занесены на географические карты.

Зато я узнавал солнце. Оно ничуть не изменилось и точно так же сияло на ссохшихся островках глины, превращая все царапины и трещинки в горящие золотые жилки.

А чуть поодаль, на шелковистом травяном ковре, солн-

це рисовало свои мгновенные узоры из бриллиантовых, рубиновых и изумрудных капелек света, словно старалось удивить изысканной красотой равнодушное небо. Один шедевр сменялся другим, и только я был случайным зрителем этого чуда. Зачем и почему природа являет такую бесполезную щедрость? Но не то ли самое происходит и в моей душе, когда искорки памяти сплетаются в дивные видения, всей прелести которых не доведётся узнать никому. Верно, существует единый алгоритм бытования прекрасного и не предусмотрено в нём никаких подтверждений и сторонних свидетельств. Красота самодостаточна, лишена смысла, не имеет содержания и у неё свои отношения со временем, которого она либо не замечает, либо сдвигает по собственному усмотрению.

Небо размывало своей голубой акварелью множественные далёкие планы земли, и мне казалось, что я был отрезан от всего остального мира прихотью всепоглощающей лазури. И не существовало более ничего кроме этого, пропитанного светом ландшафта с цветными фейерверками лучей и звенящей мелодией воздуха, в которой были слышны голоса птиц и тонкие, пронзительные смывки насекомых. Я шагал по ромашковым и васильковым полям, необъятным, словно звёздное небо, а вокруг меня звенели маленькие ручейки, которые лишь по недоразумению не были занесены на географические карты. Я чувствовал всем своим существом, что не существует на самом деле ни пространства, ни времени; не

бывает никакого детства, равно как не может быть ни зрелости, ни старости; есть лишь вечная и неизменная мелодия природы, бесконечное солнце и моя неизбывная душа, ощутить бессмертие которой помогают эти смутные и неожиданные ноты меланхолии, обозначаемые таким торжественным и величественным словом — ностальгия.

* * *

Я, пожалуй, наверняка бы выучил наизусть все достопримечательности, которые находились в радиусе нескольких километров от моего отеля на небольшой флорентийской улочке Виа дель Соле, если бы всякий раз не ожидал увидеть на своём пути дом из белого мрамора под оранжевой черепицей с дугообразными окнами и чёрным кованым балконом, усыпанным цветущей годецией и пеларгонией.

Я очень хорошо представлял себе этот дом, знал про все его порфирные полуколонны, рельефные триглифы и мозаичные вставки, щедро украшавшие ступенчатый антаблемент. Только я никак не мог вспомнить ни его приблизительного адреса, ни той причины, по которой вновь и вновь мысленно возвращался к его мраморному фасаду с чёрным балконом, унизанным живыми ожерельями из розовых пушистых цветов. Хотя, может статься, что я никогда и не видел этого дома, а он существовал только в моём воображении. Однако по существу это ничего не меняло, поскольку я

был совершенно уверен, что когда-нибудь мне непременно случится прикоснуться к массивной бронзовой ручке входной двери и оказаться внутри, в просторном холле, устланном красными коврами, на которых застыли электрические радуги от венецианского стекла.

Главное – не пройти мимо, не пропустить, не потеряться.

Не знаю почему, но для меня не существовало ничего более понятного и знакомого, чем светлые комнаты дома с мраморным фасадом. Их высокие потолки с тонкой лепниной и люстрами от муранских мастеров невесомо парили над блестящим узорным паркетом, а со стен из тяжёлых рам прямо мне в глаза смотрели безучастные мадонны и невозмутимые святые, бесчисленные библейские персонажи, очень похожие на флорентийских аристократов и сами эти аристократы.

Но главное всё-таки было в том, что здесь неизменно оказывались те, кто по разным причинам терялся у меня из виду, с кем мне так и не доводилось повстречаться и все иные – неявленные и неназванные, которые навсегда оставались в моей памяти где-то между надеждою и вымыслом.

Мне, действительно, очень легко было вообразить как проезжающая из Гель-Гью Биче Сениэль поднимается по мраморным ступеням даже не догадываясь, что я могу видеть как она касается массивной бронзовой ручки и исчезает в фиолетовой глубине дверного проёма. И мне совершенно несложно было различить за полупрозрачной балконной

портьерой осторожный профиль Исабель, которая устала от бесконечных дождей в Макондо и теперь никак не может поверить в вечное итальянское солнце.

Я был просто уверен, что этот дом находится здесь, во Флоренции, куда вечно стремилась моя душа и где мне так легко дышится и думается о высоком и важном. А душа всегда стремится в своё несбывшееся, туда, где живут иллюзии и где совсем близко находятся те, без которых сложно представить свою жизнь.

Исходив весь город вдоль и поперёк, я так и не нашёл мой дом с мраморным фасадом и чёрным кованым балконом. Может быть, прошёл мимо, отвлёкся, не заметил. Но это всё равно не мешает мне запросто бродить по его просторным залам и наблюдать из окон и древний город, и горы Тосканы, и зыбкие воды зелёной реки, несущие в дальние долины отражения могучих мостов и причудливых башен. Он существует вопреки всему и будет существовать даже тогда, когда забудется и моё имя, и даже исчезнет всяческая память обо мне. Только это не важно.

Важно другое.

Жизнь, которую мы привыкли связывать и даже отождествлять с реальностью, на деле оказывается зависимой во-все не от неё, а от того, чему эта реальность обычно препятствует и не даёт полностью осуществиться. Поэтому, наверное, человек уверовал в бессмертие своей души и так стремится к личной независимости и свободе, ибо изначально

свободен его дух, способный быть одновременно в прошлом и настоящем и находиться там, где пожелает.

* * *

Она была похожа на игру солнечного света на белом кучевом облаке, оттого её материальность скорее удивляла, нежели заставляла сильнее биться моё сердце. Здесь потерялся бы даже самый опытный портретист, ибо в ней сочеталось несочетаемое, и её облик был построен на исключаящих друг друга противоречиях. Её яркость, не уступающая следу от летучей звезды, соперничала с размытостью и неопределенностью дыма от лесного костра, а стремительность ее неожиданных перевоплощений сосуществовала с такой невозмутимой неизменностью, что начинало казаться, что везде, на всей планете, стрелки часов намертво вросли в свои циферблаты. Лишь её глаза смотрели пронзительно и ясно, смотрели отовсюду, словно необъятное северное небо, и глубокий, первобытный холод ощущался во всём моём теле, проступая колючим инеем на озябшей коже и на кончиках губ, забывших на время все человеческие слова.

На площади Санта Кроче, где обычно собираются влюблённые, я никогда не встречал никого, кто был бы в состоянии соперничать с ней, несмотря на известную привлекательность и необычайную красоту итальянок. Мне отчего-то было грустно смотреть на всех этих счастливых юношей и

девушек, ни на секунду не желавших разъединить переплетённых рук или отвести друг от друга восторженных глаз. И им, пожалуй, ни за что было бы не понять моей глубокой тоски по далёкой и неизъяснимой, на которой заканчивалась всякая речь и останавливался любой свет вопреки всем известным и неизвестным законам физики.

Но я, как и прочие, люблю побродить среди равнодушной к тебе толпы, дабы лучше услышать себя. Поскольку в ней, среди непрерывного движения и шумной многоголосицы, особенно ясно различимы прежде невидимые контуры неосуществимого и становятся слышны такие фразы, которым никак ранее не удавалось собираться в слова. В эти минуты кажется, что нет ничего невозможного и будущее всецело зависит исключительно от твоего выбора.

Я представил её здесь, сидящей со мною на Санта Кроче, площади влюблённых, где мы держим друг друга за руки, а на нас сверху смотрит беззаботное итальянское небо, щедро раздающее всем и каждому свой горячий свет, строго соблюдая все физические законы и не делая ни для кого никаких предпочтений.

И вновь было всё по-прежнему на этой земле, и ни у кого на часах даже на мгновение не остановилась минутная стрелка.

Только мне никак не удавалось понять: как могла вместить небольшая площадь столько счастья, и почему на кучевом облаке над нами нет привычной игры света, а похоже

оно, скорее, на дым от лесного костра?

Наверное, нас сложно было отличить от других влюблённых, разве что её глаза, в отличие от остальных, были голубого цвета, оставаясь пронзительными и ясными, такими, как холодное северное небо. Пожалуй, действительно, ничего не изменилось на нашей земле, разве что воздух вдруг наполнился ароматом морозной свежести и повсюду чувствовался этот необычный запах русской зимы.

Я зачем-то оглянулся назад и больше не увидел белого собора с огромной шестиконечной звездой. На его месте простирался далёкий балтийский горизонт с доками и многоэтажками, который с моего высокого питерского этажа бывает удивительно похож на просыпанную морскую соль.

Жёлтое окно

Я всякий раз останавливался, когда проходил мимо этого дома, и подолгу стоял напротив углового эркера, внимательно изучая каменного долгожителя, точно видел его впервые. Будучи типичным представителем эклектики, примененный мною питерский исполин в «четыре апартаменты» сильно отличался от своих собратьев, возможно, некогда видевших Гоголя, Некрасова или Блока. Его внешний облик за всю свою долгую жизнь не претерпел ни ремонтов, ни обновлений, отчего сохранил в первозданности не только благородство и архитектурную красоту позапрошлого века, но и

множество мелких интересных деталей, которые можно было рассматривать бесконечно долго. Это и старинные оконные переплёты; и растрескавшийся, потемневший деревянный парапет крыши; и уцелевшие кое-где стёкла, наполненные подвижными радугами зарухания.

Даже сама адресная табличка, архаически подсвеченная тусклой лампочкой, сохранила пожелтевший эмалированный круг со старым названием улицы и консоль полусферы, венчающую странноватую и давно неиспользуемую конструкцию.

Но более всего обращало на себя внимание окно второго этажа, вечно завешенное жёлтой полупрозрачной шторой, за которой горел свет, и мелькали быстрые тени. Когда окно не было освещено изнутри, в нём причудливо отражался переменчивый уличный мир, несказанно удивлявший меня своею «нездешностью». В неясных отсветах и отражениях возникали вереницы спешащих карет и экипажей; фигурки прохожих, одетых во фраки и диковинные кринолины; фасады близлежащих домов, щеголявшие новенькими оконными переплётами и свежей штукатуркой, вовсе неузнаваемые в своём первозданном обличье.

В занавешенном жёлтом окне существовала какая-то закрытая для меня жизнь, на которую наложил свой особенный отпечаток необычный облик старинного здания. Мне мнилось, что там по комнатам расставлена резная тёмная мебель, а под широкими кружевными абажурами висят роман-

тические картины в тяжёлых золочёных рамах. Очень трудно было представить современных людей в такой обстановке, и мне казалось, что за жёлтыми шторами никого нет, лишь в помутневших от времени зеркалах блуждают важные господа в чёрных котелках, обтянутых блестящим атласом, и скользят дамы, блистая нарядами, усыпанными дорогими украшениями. А откуда-то из глубины, с перекрёстков пространств и времён, звучит беккеровский концертный рояль, наполняя воздух забытыми вальсами и полонезами, которым не позволяют вырваться наружу старые массивные стены.

Мне, всегда чуждому праздному любопытству, отчего-то нравилось заглядывать в сокрытый от меня мир, и я не считал свой невежливый интерес чем-то недопустимым и стыдным. От ближайшей дороги старинный дом отгораживал небольшой сквер, в котором редко кого можно было увидеть, однако моё длительное присутствие там вполне укладывалось в понятные всем и легко объяснимые резоны.

Прекрасно осознавая всю хрупкость и нелепицу вымысла, воображение охотно добавляло в невидимую обстановку комнат всё новые и новые детали, для которых в реальном пространстве просто не хватило бы места.

Всецело доверившись своей фантазии, меня не смогли бы переубедить и разуверить никакие доводы объективной реальности, мне был дорог досужий вымысел и не нужна была никакая правда.

Но не полуторавековыми видениями манило меня жёлтое

окно старого дома. Человека всегда больше притягивает собственный опыт, своя «Terra Incognita», нежели чужая неизведанная земля. Нередко для невоплощённого, затерянного в минувшем или отнесённого в будущее, находится вполне осязаемая материальная среда, в которой, как может показаться, комфортно пребывает несбывшееся, уравнивая собой нашу ничем непримечательную жизнь, чуждую ярких впечатлений и интересных событий, таких, чтобы о них писать или всегда помнить.

Я вырос вдали от больших городов и, оказавшись в Питере, где всякое здание дышало историей и хранило множество легенд, принялся жадно вслушиваться в молчание глухих брандмауэров и дворов-колодцев, внимать шорохам лестниц и старых парадных, следить за причудливыми письменами булыжных мостовых и потрескавшейся вековой штукатурки.

Пожалуй, я научился слышать и постигать город, но чем вернее мне это удавалось, тем сложнее становилось общаться с обыкновенными людьми. Их словам и мыслям я неизменно приписывал второй или третий смысл и объясняться становилось решительно невозможно.

У меня оставался один-единственный друг, чуткий, интересный, манящий затейливыми горельефами фронтонов и задумчивыми проёмами арок, восхищавший стройностью колонн и величием башен. Я не слышал и не понимал своих весёлых институтских товарищей, говорящих, очевидно, о чём-то простом, но от того не менее важном. Когда судь-

ба поставила над студенческой сагой свою жирную непоправимую точку, их жизнерадостные и симпатичные лица так и остались в моей памяти, переключав впоследствии прямоком в несбывшееся, заставив думать о них по-другому. Теперь в моём воображении они неспешно выходили из знакомых домов и вечером, молчаливые и торжественные, снова возвращались туда, отгораживаясь от дружественного мне города полупрозрачными шторами.

От несбывшегося меня отделяла эфемерная, но непреодолимая преграда, гораздо более надёжная, чем всевозможные временные или пространственные барьеры. Я был отделён от своего несбывшегося метафизически – окончательно и навсегда, согласно неведомым мне высшим уложениям бытия.

Наверное, мне было по силам преодолеть такой неестественный выбор, однако мир мечтателя выстроен без оглядки на пресловутое «рацио» – в нём второстепенное обязательно весомее главного, а без ничтожного и бесполезного невозможна никакая «полноценная» жизнь. А там, где несбывшееся и то, что принято называть «реальностью», имеют равные права, первое всегда будет числиться в приоритете, прирастая и пополняясь за счёт всего нереализованного, упущенного и несодеянного. Конечно, такое происходило исключительно по причине наивного идеализма, нелепой восторженности и безудержной фантазии, привечавшей далёкое и не замечавшей обыденного, привычного, которое не требовало для себя никаких объяснений.

Разве нуждались в каком-либо объяснении любопытные девические взгляды, столь щедро раздариваемые мне в юности? Разве я не догадывался, почему всякий раз, как будто случайно, оказывался рядом с зеленоглазой шатенкой с параллельного потока, стоило мне только показаться ей на глаза? Конечно, знал и догадывался, как не было для меня секрета в бесхитростных вопросах без содержания и в неловких замечаниях без основания. Но придуманный, иллюзорный мир отторгал от себя всё, что было облечено в плоть. В нём не было места не только дружбе, но и любви, кроме такой, которой не бывает. Здесь у несбывшегося, действительно, была богатая и занятная добыча. Существует, наверное, непреложный природный закон, по которому бесплотный мир, проникая в душу, неизбежно увлекает её исключительно несбыточным, охлаждает чувства и будоражит разум болезненной навязчивой грёзой.

И нет ничего более жестокого, нежели фантазии идеалиста.

Увлечённый призраками, он спешит за своими видениями, не замечая ни восторженных взглядов, ни открытых сердец. Идеалист не умеет сострадать, он невнимателен ко всему, что живёт не по его правилам. Его нельзя слушать, ему нельзя доверять. Поверивший идеалисту уже не сможет безболезненно вернуться в привычный мир, где часы не опаздывают на полтора века, а отражения не могут быть непохожи на оригиналы. Не говоря уже о том, что несбывшее-

ся возвращенца будет лишено мечтательности и светлой грусти, поскольку только идеалистам непроизошедшее неявно дополняет жизнь.

Если задуматься, то между правдой и вымыслом почти неуловимая грань. Человеку свойственно мечтать, мечта неотделима от правды жизни и неразрывно сосуществует вместе с ней. Последняя может быть общей для всех, тогда как мечта живёт исключительно внутри нас. Можно делиться мыслями, можно разделять чувство, но нельзя поделиться мечтой.

Мечта гораздо сложнее желаний и прихотливее, нежели ясно намеченная цель. Мечты индивидуальны и неповторимы как отпечатки пальцев, они вырастают из нашей психофизики и неформализованного, неосознанного опыта, оттого их так сложно понять и объяснить другим.

Наблюдая за человеческим поведением, можно сделать неверный вывод о том, что у людей меж собою очень мало различий. Конечно, есть вещи, которые их сближают, но существует ещё больше сил и причин для взаимного отталкивания, и в этом смысле людям уготована участь звёзд. Невидимая тёмная материя, переполняющая вселенную, заставляет разбегаться галактики и скопления, обособляя звёзды и стремясь разобщить их сплочённые целостные миры. Такая же тёмная материя знаний и представлений, слухов и домыслов, довлея над человеком, разобщает людей через неприятие и непонимание. Эта тёмная материя неуклонно увеличи-

вается в объёме, вбирая в себя всё закономерное и случайное, всё истинное и ложное, превращаясь тем самым в непознаваемую информационную бездну.

Вселенная людей расширяется, мы стремительно удаляемся друг от друга, рискуя, в конце концов, оказаться в полном одиночестве.

Вряд ли такое было бы возможно, если бы нам удавалось отсеивать лишнее, безосновательное, никак не согласующееся с «правдой жизни». Личное пространство любого из нас перегружено фантомами, и у каждого вполне может обнаружиться своё сокровенное жёлтое окно. Там, в пространстве прошлого или будущего, за розовыми или синими шторами скрывается невыразимое, соотнесённое с мечтой – неявленное, несбывшееся, непознанное. И никто не решится заглянуть за эту занавесь, предпочтя собственные фантазии бескомпромиссной жизненной правде.

Я стоял перед жёлтым окном почти забывшись, в состоянии, когда явь прирастает впечатлениями, которые оказываются сильнее и достовернее её самой. Мне грезилось, что нет никакого старого дома с его жёлтым окном, а за кажущейся полупрозрачной преградой неистово кипит жизнь. Там цветут золотистыми одуванчиками бескрайние поля, в траве которых стрекочут янтарные кузнечики и блестят медными спинками тяжёлые неповоротливые жуки. Палевые стрекозы парят над глинистыми луговыми островами песочных оттенков природной охры, а надо всей этой жёлтой землёй сияет

шафранное солнце как яркий символ зримого Абсолюта.

В нём несбывшееся крепко соединилось с явью, оттого, наверное, в солнечных лучах было столько надежды, величия и торжества.

Я стоял у углового эркера старого дома, и солнце пробивалось мне навстречу не через просветы в низкой кучевой облачности, а через жёлтое окно второго этажа, очевидно впустившее к себе золоти́кое светило. К месту или не к месту, мне почему-то вспомнились слова австрийского антропософа Рудольфа Штайнера: «В жёлтом цвете обычно является мысль, которая поднимается к высшему познанию».

Итальянские впечатления. Рим, Флоренция, Венеция

Если вы никогда не бывали в Италии, то путешествие по этой стране лучше всего начинать с Рима. Вечный город, несмотря на свой столичный статус, даст вам возможность понять и прочувствовать современную Италию, расскажет о её прошлом, позволит прикоснуться к истокам современной европейской цивилизации и получить ответы на такие вопросы, которые давно копились у вас в памяти и будоражили воображение, разве что вы только не знали, у кого об этом можно было спросить. В каком-то смысле Рим непредсказуем, и каким он предстанет перед вами нельзя ответить наверняка; во многом это будет зависеть непосредственно от вас, поскольку Рим открывается путешествуя с тех сторон, с которых им привычнее наблюдать за происходящим и воспринимать жизнь. Эти записки, как и многое другое, что ранее было написано о Риме и Италии, отмечены субъективизмом и, возможно, непоследовательностью, однако рассказывать о своих впечатлениях как-то иначе — попросту невозможно, особенно тем, кто впервые оказался на этой благодатной земле.

Рим. Феррагосто

Пожалуй, ни одна страна мира так не будоражила мою фантазию как Италия. Стоило о ней подумать, и в воображении вырастали цветущие горы, тёплые моря и солнечные города. Туда-сюда сновали длинные, гружёные снастями лодки смуглых рыбаков, слышался гомон беззаботных людей за столиками тратторий, и там, где черепичные крыши смешивались с небесной лазурью, черноволосые женщины развешивали бельё между домами, стоящими друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Здесь, в моей придуманной Италии, стояло вечное лето, и горячий воздух был наполнен ароматами роз, пряностей и моря. Тут жили замечательные люди, чем-то похожие на героев моих любимых книг. Иногда они переселялись туда из сказок Джанни Родари и Карло Коллоди; случалось, что волею воображения здесь обретали свою вторую жизнь герои фантастических рассказов Лино Альдани, но чаще всего эту страну населяли люди более земные, точно такие, которые пришли сюда из произведений Джованни Арпино, Альберто Моравиа или Итало Кальвино.

Так думалось мне под ровный гул мотора, когда внизу, под белым крылом лайнера, пестрел диковинными узорами цветастый ковёр Апеннин, переливались яркими красками живые мозаики полей, и отливала полуденным зноем аквамариновая гладь Тирренского моря. Вот она,

Италия, благословенная страна, страна богов и героев, чудесных художников и гениальных поэтов, бесподобных зодчих и виртуозных музыкантов. Миллионы людей стремятся попасть сюда, чтобы увезти в своей памяти частичку здешней пронзительной лазури, щедрого солнца, приобщиться к созданной итальянскими мастерами гармонии и на себе ощутить теплоту и отзывчивость этих людей, почувствовать их гостеприимство и открытость. Всё в нашей жизни происходит за чем-то, ничего не случается просто так. Наверное, поэтому настолько сложно однозначно ответить на вопрос: зачем судьба что-то легко предоставляет нам, щедро и непринуждённо одаривая нас, а чему-то упрямо препятствует, всегда находя для этого те или иные обстоятельства. Моё желание посетить Италию не встретило ни преград, ни непреодолимых сложностей, и оттого я усмотрел в этом знаке судьбы некую необходимость которую должен реализовать.

В Рим я прилетел в один из главных религиозных католических праздников – день Успения Пресвятой Богородицы или, как его называют сами итальянцы – Феррагосто. Ещё в отеле меня предупредили, что вне туристической зоны будут закрыты все магазины и рестораны, ларьки и «забегаловки». Да и самих итальянцев мне увидеть не удастся, ибо это домашний праздник, который принято проводить в кругу семьи. «Ничего, – решил я, – не так часто и не всякому случается войти в пустой город, особенно, если он не Наполеон Бонапарт». Я быстро собрался и всего через каких-нибудь

полчаса уже находился в районе Тестаччо, в пустом городе, как мне и было обещано.

«Новый Рим» мало чем напоминает окраинные районы наших мегаполисов, и дело тут не только в особом рельефе и множестве живых природных островков, представленных аллеями и скверами, крышами и балконами зданий, сколько в такой особенности городской среды как соседство новостроек и древних стен. Римляне упрекают своих архитекторов, что те значительно уступают зодчим прошлого, однако я бы не вполне разделил их пессимизм. Отдельные архитектурные решения показались мне интересными, даже неожиданными. Особенно это относилось к малоэтажным постройкам, которые настолько органично вписывались в ландшафт, что воспринимались как его продолжение. К своим историческим зданиям итальянцы относятся с подчеркнутым уважением, но вот современные стены молодёжь неумоимо покрывает граффити, среди которых я, то и дело, встречал уже такой забытый у нас на родине символ как серп и молот. И, что удивительно, вначале я вовсе не замечал ни реклам, ни вывесок, ни проводов. Провода, действительно, практически нигде не висели над головой, а реклама и вывески настолько сливались по тону с фасадами зданий, что совсем не бросались в глаза. А вот на что я сразу же обратил внимание, так это на многочисленные колонки, из которых непрерывно текла вода. Они были повсюду: и в центре, и на окраинах – из чугуна, бронзы и мрамора, и, как я узнал

впоследствии, эту воду даже можно было пить, не прибегая к дополнительной очистке. Но самым значительным отличием «нового Рима» всё-таки была южная природа, устраивающая здесь фейерверки солнечного света и карнавалы цветных теней, и это яркое полуденное небо, отражённое в каменных зеркалах площадей и мостовых, и пьянящий запах трав и цветов вместо тяжёлого автомобильного смога и острых ароматов, исходящих от подворотен и открытых парадных.

Никогда бы не подумал, что моя встреча с Италией будет обставлена таким образом. В пустынном городе без людей и машин, можно было заметить какие-то особые, вневременные черты, чуждые случаю и сиюминутности. Особенно я ощутил это, когда за кварталом современных зданий, лесенкой сбегаящих вниз по холму, обнажились тёмно-коричневые кирпичные руины и чуть поодаль, через яркую полосу зелени, вознеслась к небу огромная круглая башня из серого туфа, построенная, наверное, ещё этрусками, поскольку не имела кровли, а была надсыпана землёй. На ней воцарились юкки и амариллисы, кливии и папоротники, а тяжёлые пальмовые листья устало свешивались через полукруглые зубчатые навершия башни. В такой обратной перспективе времён, от современности до рубежей исторической памяти человечества, я усмотрел не столько как менялись идеи целесообразности и представления о прекрасном у творцов из различных эпох, сколько воочию увидел во всех подробностях про-

тивоборство рукотворной и естественной природы, стихии и человеческого произвола. Я наблюдал, как упорные побеги каменоломки и цветные мхи, цепляющиеся за скользкий камень, вновь возвращают в природу тысячелетние стены, как противостоит буйству дикого винограда изысканная геометрия, воплощённая в стекле и бетоне, — и не знал: на чьей я стороне. Впрочем, наверное, это и неважно, главное помнить, что ты не один на этой планете: рядом с тобой есть другие люди и не только они. Позже я убедился, насколько такое понимание соответствует национальному характеру итальянцев. Не без удивления я обнаружил в них предупредительность и деликатность, и ещё внимательное отношение к жизни: своей и чужой.

В первый день своего пребывания в Италии я, наверное, прошёл десятки километров пешком, наслаждаясь такой непривычной для моего уха звенящей тишиной, расцвеченной пением птиц, звоном насекомых, свистом непонятных зверьков, укрывающихся в кронах кипарисов. Возможно, это были обыкновенные летучие мыши, хотя, впрочем, как знать. Весь город утопал в зелени цветущих олеандров, тёмного кружева кипарисов и диковинных растений, чем-то напоминающих наши лиственницы, разве что их воздушные кроны были похожи на светло-зелёный тополиный пух, густо облепивший тоненькие ветви, ниспадающие до земли. Вечный город не уставал поражать меня своей многоликостью и необычностью. Всё: начиная от занятных крыш, вмещаю-

щих, порой, в себя великолепные висячие сады, вплоть до оранжевых тротуаров, усыпанных палыми каштанами и ещё какими-то странными мохнатыми плодами, — достойно было того, чтобы задержать взгляд и добавить в самую сокровенную копилку памяти. А, собственно, как же могло быть иначе, не за тем ли все наши дороги ведут в Рим!

Базилики Рима

В Риме больше не строят новых соборов, и, быть может, это правильно, поскольку они и так тут на каждом шагу. Окна моего номера выходили прямо на знаменитую базилику Санта Мария Маджоре, за которой то здесь, то там были различимы силуэты католических церквей. Они, в отличие от православных храмов, не столь заметны в городской среде, и узнать их можно разве что по возвышающимся колокольням. Зато ощутить, как много церквей в Риме, можно утром, когда притихший и не вполне проснувшийся город начинает полниться густым гулом множества колоколов. Разумеется, никакой турист не пройдёт мимо настежь открытых дверей этих церквей, тем более что внутреннее убранство большинства из них поражает воображение. Можно сказать, что римские храмы — это своеобразные маленькие музеи. И действительно, каких только имён художников и ваятелей тут только не встретишь. Часто ко многим живописным и скульптурным работам прикреплены маленькие таблички с указанием

названий и их авторов, что хотя и противоречит христианской традиции, но зато даёт возможность получить для любознательных посетителей полезные сведения, которые востребованы никак не меньше, нежели здешние спагетти или моцарелла.

Однако где бы вам ни случилось остановиться в Риме, осмотр достопримечательностей города вы всё равно начнёте с Капитолийского холма, даже если вы не догадываетесь о его существовании. Почему? Сами задайте себе этот вопрос, когда вдруг неожиданно окажетесь там, на пяточке между Колизеем, рынком императора Траяна и Палаццо Сенатори, непосредственно возле колонны, называемой «Пуп земли». Отсюда во все провинции Рима некогда радиально расходились дороги, мощённые чёрным базальтом. Эти дороги и приводили людей в столицу империи со всех сторон света. Возможно, какая-то из множества этих дорог привела сюда и вас. Если вы приехали в Рим не на один день, то советую оставить на время императорские форумы и вернуться к Римским церквям, раз уж мы начали о них говорить. Там же, на Капитолийском холме, на месте древнего храма, где некогда жили огнебоязненные капитолийские гуси, спасшие в своё время Рим, стоит церковь Санта-Мария-ин-Арачели, одна из самых популярных церквей в городе. В средневековье эта церковь заменяла римлянам форум и была резиденцией средневекового Сената. Все собрания и важные встречи происходили именно здесь. Относительно места её возве-

дения добавим, что здесь жили не только бдительные гуси, но и стоял языческий храм Юноны Монеты, во дворе которого отливались деньги, получившие впоследствии названия монет. Наверное, по этой причине так популярна среди желающих разбогатеть лестница этого храма, состоящая из ста двадцати четырёх ступенек. Каких только способов расположить к себе Фортуну не придумано теми, кто уверовал в её магические свойства. Однако расстанемся с чудесной лестницей и направимся мимо скандально известного монумента Витториано, именуемого в народе «пишущей машинкой», прямёхонько к базилике Сан Марко, раз уж мы условились останавливать своё внимание преимущественно на церквях. Туристы, впервые оказавшиеся на Венецианской площади и увидевшие величественное ампирное строение на склоне Капитолийского холма, обычно считают его отреставрированным произведением древнеримской архитектуры и охотно фотографируются на его фоне, никак не желая видеть в нём «пишущую машинку» или «свадебный торт». Надо заметить, что в начале нового тысячелетия многие здания Рима были приведены в порядок по программе «Millennium», но реставрация производилась исключительно бережно и в большинстве случаев, просто сводилась к консервации сооружений.

Сан Марко – это титулярная трёхнефная базилика IV века – в то время такой тип постройки был наиболее распространённым. Что мы о ней знаем, кроме того, что она была

приходской церковью венецианцев в Риме, и всё это здание, включающее церковь, было после первой мировой войны резиденцией Муссолини? Знаем, что в IX веке она была перестроена, а в XV веке перестраивается ещё раз, дабы стать частью дворца кардинала Пьетро Барбо, будущего папы Павла II. В XVIII веке церковь снова подвергается переделке, тогда и появилось всё её барочное убранство. Но это расскажет вам любой экскурсовод, и всё это можно прочесть в путеводителе или в справочнике. Но самое интересное можно увидеть только самому, а именно, проследить, каким причудливым узором ложатся на сооружение его многочисленные перестройки – эти стилевые кольца времени, запечатлевшие в себе культурные особенности и вкусы ушедших эпох. А надо сказать, что римские храмы, и в этом их исключительная особенность, в отличие от храмов других итальянских городов часто подвергались множественным переделкам и изменениям своего внутреннего убранства.

Вот у входа в храм стоит колонна, в теле которой выдолблена чаша для святой воды, хранящая на своей мраморной поверхности древние письмена. О тех же временах говорят и фрагменты базилики в крипте. Мозаика апсиды, где Христос изображён на золотом фоне в окружении евангелиста Марка и других святых, исполнена в традициях IX века, когда очень сильно было влияние Византии. Да и само здание, наверняка, озадачило вас несимметричностью окон – это наследие средних веков: в ту пору считалось, что окна, распо-

ложенные на одинаковом расстоянии, уязвимы для злых духов. А на полу и церковной кафедре видны остатки работ, выполненных в стиле косматеско. Это уже век пятнадцатый, его середина. К этому же времени относится и великолепный кессонский потолок, украшенный золотыми розетками и гербом папы Павла II. У выхода из церкви стоит древнее изваяние. Никто не может сказать как и когда оно появилось здесь. Обычно его называют *Madama Lucrecia*: считается, что в нём есть сходство с возлюбленной короля Альфонса Арагонского, Лукрецией, покровительницей изящных искусств. В былые времена это изваяние было одной из «говорящих» римских статуй, говорящих в том смысле, что к пьедесталу таких изваяний обычно приклеивались анонимные стихи, карикатуры и пасквили, содержание которых в одночасье становилось публичным достоянием.

Неподалёку от базилики Сан Марко находится другая базилика – Санти-Апостоли, также как и Сан Марко, соединённая со дворцом, именуемым Палаццо Колонна, последний раз перестроенным Николо Микетти, придворным архитектором царя Петра I. Это он достраивает Петергофский Монплеизир, Марли и возводит дворец в Стрельне. В дореволюционной России существовало великое множество домовых церквей, они были практически при всех дворцах вельмож, но не было такой практики, когда к строящемуся дворцу присоединяли уже существующую церковь. В Италии же, как видим, такое случалось. Случалось, и не однажды.

Сан-Апостоли, также как и Сан Марко, – титулярная трёхнефная базилика. Построена была в VI веке по случаю освобождения Рима от остготов при папе Пелагии I. Первоначально она посвящалась апостолам Иакову и Филиппу, а позднее и всем двенадцати. Базилика служила церковью для семьи Колонна, могущественного феодального рода, который, наряду с другими крупными представителями знати, удерживал власть над Римом с середины XIV века вплоть до возвращения пап. Но, начиная с папы Сикста IV, аристократы окончательно утратили своё влияние, хотя это обстоятельство не помешало семье Колонна владеть и церковью, и дворцом, и даже в начале XVIII века перестроить базилику до неузнаваемости. Так обрела базилика Сан-Апостоли при помощи архитекторов Франческо и Карло Фонтана своё барочное великолепие. Однако мы здесь больше не увидим фресок гения Возрождения Мелоццо да Форли, кому дано было первым явить миру монументальную иллюзионистическую живопись. Они были либо уничтожены, либо перенесены в Пинакотеку Ватикана. Теперь на потолке ризницы мы можем лицезреть только работу Риччи Себастьяно «Вознесение».

И, разумеется, я вам советую посетить как дворец Венеции, так и палаццо Колонна, в которые встроены базилики Сан Марко и Сан-Апостоли. Там сейчас расположены прекрасные музеи, тем более что интерьеры палаццо Колонна покажутся вам на удивление знакомыми, хотя в этом нет ни-

чего странного, поскольку здесь снимались последние сцены фильма «Римские каникулы». А кто из нас не пересмотрел этот фильм, по крайней мере, хотя бы два или три раза.

В Риме много примеров классического воплощения барочного стиля, недаром во всех отелях наиболее популярной туристической экскурсией является «Барочный Рим». Кстати, совсем недалеко от Санти-Апостоли расположена церковь Сант-Андреа-аль-Квиринале, прекрасный образец римского барокко, надо только развернуться в сторону самого высокого городского холма – Квиринальского, на котором находится официальная резиденция Президента Итальянской Республики, и выйти на улицу Виа-дель-Квиринале. Впрочем, если у вас найдётся немного времени, то, пожалуй, стоит подняться и к Квиринальс-кому дворцу, хотя бы для того, чтобы посмотреть не только на сам дворец, монументальное сооружение Фламинио Понцио, Фонтана и Лоренцо Бернини, но и на громадные античные мраморные изваяния Кастора и Поллукса, некогда стоявшие перед термами Константина.

Оттуда же, из античности, и гранитные чаши фонтанов, и ещё из более глубокой древности – пятнадцатиметровый обелиск, вывезенный в своё время из Египта для мавзолея Августа.

Церковь Сайт-Андреа считается самым совершенным произведением Лоренцо Бернини, несмотря на то, что многое из того, что он задумывал, ему удавалось воплотить в

жизнь. Недаром же он, на склоне лет, часами просиживал внутри этой церкви, любуясь на свою работу. «Я победил мрамор и сделал его гибким как воск, и этим самым смог до известной степени объединить скульптуру с живописью», – говорил мастер, будучи не только выдающимся архитектором, но и гениальным ваятелем. Бернини называли творцом нового стиля – барокко. «Перола барокка» – так итальянцы говорили о жемчужине изысканной и причудливой формы. Прилагательными «изысканный» и «причудливый» без всякого преувеличения мы можем охарактеризовать и произведения самого Бернини. Строил Бернини церковь Сайт-Андреа для итальянского королевского дома, хотя заказчиком являлся кардинал Камилло Франческо Мария Памфили при одобрении папы Александра VII. Рассматривая саму церковь и её внутреннее убранство, вы не раз вспомните об упомянутом выше причудливом жемчуге. Дело даже не в форме церкви, которая в плане представляет собой овал «неправильной» жемчужины, и даже не в текучих формах стен и её декора, сколько в жемчужном цветовом оркестре, перламутровых переливах серых и розовых тонов, усиленных пронзительным белым на фоне переливающегося и бликующего золота. Бернини создал церковь как ответ Борромини, построившему церковь Сан-Карло. А находится она в двух шагах отсюда, непосредственно перед площадью Куаттро-Фонтане. Сооружение замечательно хотя бы потому, что в нём нет ни одной плоскости – лишь витиеватые криво-

линейные поверхности, спорящие своей стремительностью и неудержимостью с неподвижностью того материала, из которого и были созданы.

Покинув церковь Сан-Карло-алле-Куаттро-Фонтане, дойдём до, пожалуй, самой оживлённой центральной римской магистрали Виа Национале, дабы на площади Республики сесть в метро и доехать до церкви, не посетить которую мы не имеем права, если уж нам выпало такое счастье – оказаться в Вечном городе. А с «маэстро барокко» Бернини мы ещё встретимся не один раз и на площади Навона, где представлена его композиция «Четырёх рек», и на площади Барберини, где возвышаются фигуры, олицетворяющие природные стихии, не говоря уже о Ватикане, где его гению принадлежит величественная колоннада собора Святого Петра.

Римское метро совсем не похоже на московскую или петербургскую подземку. Сравнивать их попросту невозможно, но одну очень важную особенность, столь выгодно его отличающую в лучшую сторону, я счёл бы уместным здесь отметить. Это исключительная вежливость и предупредительность итальянцев. Об иных отличиях говорить не будем и молча доедем до нужной нам станции Сан-Джованни.

Выйдя из метро и оказавшись на площади, вы сразу же обратите внимание на мраморный фасад базилики Сан-Джованни ин Латерано, который, по праву, называют самым красивым церковным фасадом в Риме. Его вы могли увидеть с любой городской возвышенности, не говоря уже о колоколь-

не Собора святого Петра. Действительно, он виден отовсюду, вероятно, из-за просторной площади перед ним, ибо никакие здания его не загораживают и не мешают обзору. Сан-Джованни – это первая церковь Рима, основанная в эпоху императора Константина, одна из древнейших христианских церквей. В католической иерархии эта церковь стоит выше всех остальных храмов мира, включая и собор святого Петра, о чём свидетельствует надпись над входом: «Святейшая Латеранская церковь, всех церквей города и мира мать и глава».

В своё время этот храм называли «золотой базиликой» из-за многочисленных подарков императоров, правда, лишь до той поры, пока его не разграбили вандалы в V веке.

Многие поколения архитекторов оставили след в архитектуре этого собора, ведущая роль среди них принадлежит архитекторам уже Нового времени: Доменико Фонтане, Франческо Борромини и Алессандро Галилеи. В самом соборе сохранилась фреска Джотто, изображающая Папу Бонифация VIII.

Воцерковлённый читатель, я полагаю, простит мне, человеку нерелигиозному, такое повествование, в котором я сознательно опускаю все подробности, касающиеся христианских реликвий и церковных раритетов; но, право же, такая красота, которую обнаружил здесь мой искушённый взгляд, более всего заставляет думать о величии человеческого гения, чем о чём-либо ином. Но о кое-каких реликвиях я здесь

всё же упомяну.

В храме Сан-Джованни, в личной папской капелле, находится главная святыня народа Израиля – Ковчег Завета и расцветший цветами миндаля жезл Аарона. Здесь же хранятся и иные реликвии, ради которых сюда съезжаются христиане со всего мира. Посмотреть на это пёстрое смешение верующих, приехавших прикоснуться к святыням, не менее интересно, чем наблюдать архитектурное великолепие римских базилик. Здесь вы увидите людей со знамёнами; людей, к одежде которых прикреплены ленты с непонятными письменами; «рыцарей» с фамильными гербами на груди и ещё немало тех, кто пришёл сюда, держа в руках какие-то старинные книги и свитки. Разумеется, будут тут и толпы любопытных туристов, взирающих на всё это исключительно увлечённо, ощущая при этом свою личную причастность к происходящему. А из самого значительного, что совершается здесь – это восхождение на Святую Лестницу; правда, чтобы пронаблюдать за этим, нам нужно будет перейти дорогу и оказаться перед удивительным сооружением – Санта Скала, представляющим и дворец, и церковь одновременно, составленным из разных зданий, незавершённых объёмов и пристроек.

Эта лестница была выломана из развалин дворца претория в Иерусалиме и перевезена в Рим императрицей Еленой в 326 году. По этой лестнице Иисус поднимался на суд Пилата, на ней даже остались следы Его крови. Лестница об-

шита снаружи деревом, но сбоку, через стекло, вы можете её рассмотреть. По лестнице дозволено взбираться исключительно на коленях, на каждой ступени произнося молитву. Туристы, правда, могут наблюдать за этим со стороны, поднимаясь наверх по обыкновенным мраморным лестницам. В здании существует пять почти неразличимых лестниц, благодаря чему создаётся впечатление, что и всё сооружение из них и состоит. Его интерьер представляет собой типичный образец маньеризма – стиля, предшествующего барокко.

Здесь нужно заметить, что не только лестница была привезена из Иерусалима, но и отдельные фрагменты дворца Ирода также вплетены во внутренние порталы сооружения, тем самым образуя, наверное, единственное в мире здание, составленное из частей, разнесённых по времени почти на две тысячи лет.

Спустившись по лестнице вниз и выйдя наружу, вы опять окажетесь на просторной площади Сан-Джованни, от которой отходит знаменитая Аппиева дорога. Её сразу невозможно было приметить из-за высоченного карнакского монумента, возвышающегося посередине площади. Это будет, правда, сравнительно поздний участок дороги, построенный уже в XVIII веке, но, тем не менее, пробудивший фантазию впечатлительного Джованни-Батиста Пиранези на завораживающую по красоте и выразительности гравюру. Направимся по Аппиевой дороге вслед за Пиранези и мы. Но этому всё же стоит посвятить наше отдельное повествование.

Рим. Аппиева дорога

Такое, наверное, происходит с любой дорогой за две с лишним тысячи лет – она, быть может, ещё и ведёт куда-то, однако, более всего существует сама по себе.

Поначалу вокруг такой дороги теснятся поля и луга, затем они превращаются в тенистые рощи и знойные виноградники, вместо которых впоследствии то там, то здесь вырастают хижины и дворцы. Ну а после, когда от тех и от других остаются лишь с трудом различимые следы, вокруг неё вновь начинают колоситься золотистые поля и благоухать душистыми травами зелёные луга. Вдоль Аппиевой дороги я наблюдал как цветущие луга с кудрявыми виноградниками, так и живописные руины с наступающими на них дворцами и хижинами. Мой маршрут лежал в катакомбы Древнего Рима, но мне хотелось увидеть и саму дорогу, самую древнюю из существующих здесь, и то место на ней – «Кво вадис», где бегущий из города святой Пётр, преследуемый Нероном, повстречал тень Спасителя. Собственно, с церкви Санта-Мария-ин-Пальмис, на месте которой по легенде святой Пётр встретил своего Учителя, и началось моё знакомство с Аппиевой дорогой.

В церкви Санта-Мария-ин-Пальмис было тихо и безлюдно, перед алтарём горели свечи, и между скамеек, на небольшом возвышении, находился мраморный след ступней Спа-

сителя – всё точно так, как описано в любом из путеводителей по Риму. В подлинность этой реликвии искренне верили создатели храма, когда в IX веке возвели на этом месте церковь; не сомневались в ней и те, кто распорядился изготовить мраморную копию этого следа, доныне украшающую храм. Да и кому взбрѣдет в голову усомниться: слишком очевидны каменные следы с неглубоким узнаваемым рельефом, слишком проникновенно смотрят тебе в душу святые со стен церкви, убеждая посредством таланта живописцев и скульпторов в истинности всего, что предстаѣт перед твоим восхищённым взором и слишком велика мощь солнечного света, проникающего через любые преграды и шоры и придающего значимость и сверхчувственное звучание любым вещам, даже самым заурядным и обыкновенным, отчего ты просто-душно начинаешь верить в чудеса и древние легенды.

Возможно, всё дело как раз в нём, южном солнце, с его беспредельным обилием жѣлтого лучистого света; недаром же Василий Кандинский наделял жѣлтый цвет магическими свойствами, предполагая в нём мистическое преображение реального мира. Для тех, кто не был во власти этого щедрого итальянского солнца и кому истина дороже «нас возвышающего обмана» скажу, что такие мраморные плиты ранее украшали языческие храмы, посвящённые богу Возвращения, во множестве уничтоженные во времена воинствующего идолоборчества ранних христиан.

За время своего недолгого пребывания в Риме я успел

полюбить эти уютные, пустынные базилики с их барочным убранством и средневековыми стенами. И то, что в католических храмах существуют скамейки для молитвы – сделано весьма кстати. В конце концов, любая молитва – это внутренний диалог. Да, я не ошибся, именно диалог, ибо мы всегда, даже если не слышим, то, по крайней мере, подразумеваем Того, к Кому обращены наши слова. Сложно сказать почему, но едва мне удавалось поудобнее устроиться на храмовой скамейке, как моё сознание начинало наполняться новыми замыслами и сюжетами, сами собой объявлялись творческие находки и ответы на прежде неразрешимые задачи. И это, наверное, неудивительно, поскольку творчество и молитва имеют много общего – и то, и другое обращено, в первую очередь, к самому Богу.

Моя многолетняя привычка работать на улице сделала меня почти неспособным к работе в мастерской. Здесь бесполезно приводить какие-нибудь примеры, дабы убедить самого себя в правильности и целесообразности своего выбора, но мне часто вспоминается Гоголь с его привычкой работать на природе, на открытом воздухе. В Риме его творческой мастерской была Аппиева дорога. Он сворачивал с её древних камней, ложился в траву и, глядя в небо, записывал тексты своей поэмы. «Здесь, на Аппиевой дороге, небо ближе к Богу», – говорил Гоголь. Собственно, тут и сейчас мало что изменилось со времён русского классика, разве что везде разрослись диковинные представители тропической флоры, по-

селившиеся как в садах и парках, так и просто вдоль обочины. Прямо неподалёку от церкви Санта-Мария-ин-Пальмис я впервые в жизни увидел заросли громадных цветущих кактусов. Кактусы занимали немалую площадь и представляли собой совершенно непроходимую территорию. Их массивные миндалевидные тела венчали тяжёлые белоснежные украшения, вокруг которых кружили в великом множестве мелкие жёлтые и фиолетовые бабочки. Цветы, казалось, были вылеплены из гипса, и в это вполне можно было поверить, если бы не пронзительный сладковатый аромат, наполняющий горячий воздух.

Из всего, невиданного ранее, меня восхитили плантации киви, на которых были заметны уже вполне зрелые плоды. Посадка гудела пчёлами и стрекозами, а по земле ветвились коричневые тропы садовых муравьёв.

По дороге несколько раз проезжал автобус, следующий до катакомб, но я не имел никакого желания садиться в него и воспринимал эту прогулку как ещё один замечательный подарок Вечного города.

Неожиданно дорога приросла двумя боковыми дорожками со скульптурами и колоннами, и одна из этих дорожек, привела меня в тенистый грот, в котором находилась увешанная светящимися лампочками скульптура Девы Марии, стояла мраморная скамейка и был выложен небольшой водоём с плавающими там золотыми рыбками. Я сидел на этой скамье и мне казалось, что все мы – цветы и люди, рыбы и

насекомые вполне можем жить между собой в гармонии и мире, не мешая друг другу и безмятежно сосуществуя рядом. Но где-то далеко, в глубине души я осознавал, что не стоит доверять этим нахлынувшим мгновенным чувствам. Об этом лишний раз свидетельствовали и тяжёлые чёрные камни дороги, помнящие многочисленные орды пришельцев, тревожившие их своей недоброй поступью, – люди никак не могут ужиться даже сами с собой.

Но на этот раз на моём пути я почти не встречал людей, и лишь дойдя до каких-то невысоких строений, сильно уходящих в глубину от дороги, и заметив на вымощенной площадке перед ними нескольких капуцинов, перемотанных плетью, понял, что, наконец, пришёл. И что это и есть знаменитые римские катакомбы.

Римские катакомбы

Итальянцы – очень симпатичный и дружелюбный народ, однако если с вами нет русскоговорящего гида, то общаться с ними вам придётся, скорее всего, исключительно жестами. Русского языка здесь, разумеется, не знают, да и ваш английский будет полезен разве что в Венеции – городе туристов и тех, кто их обслуживает.

Кстати о последних. Английский среди них не так популярен, как французский или испанский, хотя англоговорящих среди туристов – абсолютное большинство. Наших со-

отечественников здесь также немало, повсюду вы обязательно услышите русскую речь, повсюду, только не в римских катакомбах.

Катакомбы не пользуются популярностью Колизея или Пантеона, о которых знают даже те, кто никогда не бывал в Риме. Чаще всего тут собираются небольшие группки пожилых немцев или поляков, ведомые суровыми папскими экскурсоводами. Собственно, других экскурсоводов здесь и не бывает, сопровождать группы разрешено только им. Не будь со мной русскоговорящего гида, о котором я предусмотрительно позаботился ещё в отеле, мой вояж сюда оказался бы делом почти бессмысленным.

Эти подземные пещеры, соединённые многочисленными коридорами, образовались в результате выработок туфа, применяемого римлянами как материал для строительства зданий. Их начали использовать в качестве места для погребения ещё в I веке язычники, хотя среди приверженцев язычества чаще всего практиковалось сожжение. Первые христианские захоронения появились здесь во II веке, и официальный Рим никак не препятствовал этому, несмотря на то, что христиане находились вне закона и не пользовались никакими правами.

Что вы оказались в каком-то особом месте, отличающимся от всего, что вам до этого приходилось видеть в Риме, вы понимаете сразу, даже не особенно принимая в расчет то обстоятельство, что вы находитесь под землёй. Сколько раз мне

случалось опускаться «под землю», но никогда я не ощущал такого контраста между тем, что «над» и тем, что «под». Понимаю, какие чувства мог бы испытывать тот, кто опускался сюда две тысячи лет тому назад, или хотя бы тогда, когда бывал здесь блаженный Иероним, проводя своё время в молитвенном бдении и созерцании. Пусть я не мог прочувствовать и воспринять увиденное так, как этот великий пустынный и аскет, но частичка его понимания так или иначе коснулась и меня. Мне, разумеется, было легче представить себя на месте беспечного Орфея, случайно забредшего в царство мёртвых без необходимости, но обещавшего заплатить за теперешнее любопытство и последующую свободу песней для подземного владыки – своенравного Аида. Да здесь никак нельзя было поступить по-другому, поскольку уйти безучастным из владений сына Кроноса и Реи не дано никому.

Впрочем, также уместно было бы примерить на себя ощущения ещё одного мифического героя – Тесея, блуждающего по лабиринту Минотавра, настолько катакомбы оказались сложными и запутанными, в которых очень скоро забываешь, где «право» и «лево» и где тут «вперёд» и «назад». Узкие неровные тоннели иногда приводили меня в сырые пещеры, с множеством чернеющих проёмов, за которыми ветвились всё новые и новые ходы, усеянные неглубокими погребальными нишами.

Я обратил внимание на миниатюрность этих выдолбов, которые редко превышали полтора метров. Дело в том, что

в первые века новой эры средний рост женщин составлял всего 140–145 сантиметров, а мужчина считался высоким, когда его рост был около 160 сантиметров. Только мы не увидим мощей из первых христианских захоронений, такие крипты и ниши всегда оказывались пустыми, так как с высокой степенью вероятности в них находились христианские мученики, мощи которых вынесли из катакомб ещё задолго до нашего времени в качестве священных реликвий и объектов поклонения.

В те времена, когда Рим оставался языческим, да и некоторое время после официального принятия христианства, катакомбы использовались для собраний и богослужений верующих. Повсюду на стенах и сводах были выцарапаны христианские символы: рыбы, якоря, трилистники, а также кресты, хриistogramмы и граффити на греческом, арамейском и на латыни.

Содержание надписей не вызвало у меня особенного удивления и интереса – они напомнили мне по стилю и содержанию граффити Софии Киевской, оставленные там недавними язычниками, которые, как истинные неофиты, скорее старались изгнать из своей памяти сброшенных в Днепр идолов Перуна, Мокоши и Стрибога. Но вот что меня действительно удивило, так это то, что рабы были упокоены в криптах хозяев, что дало повод задуматься об их подлинных взаимоотношениях.

Во мне не было даже и доли того тяжёлого и неприятного

впечатления, о котором писал Гёте в своём «Путешествии»; катакомбы, скорее, наполнили меня сиянием и торжеством веры, сродни той, которую испытывали первохристиане, оказываясь здесь, среди святых и мучеников. От сцен из Святого Писания, многочисленных фресок с изображением Оранты или Христа исходила такая намоленность, такая одухотворяющая сила, что была способна проникнуть даже в самые заповедные глубины души, о которых ты ранее не имел никакого представления.

Впоследствии, уже в отеле, разглядывая в путеводителях по Риму изображения, увиденные там, под землёй, я отчего-то не находил в них той убедительности, которая поразила меня в катакомбах, с их тяжёлым и сырым воздухом, тусклым светом желтоватых светильников и траурными мохнатыми тенями. Верно, надо это не только увидеть, но и почувствовать, для чего требуется не столько зрение, сколько большая внутренняя работа. Ну что ж, в этом-то Вечный город, как всегда, помогает своим гостям, не позволяя лениться душе.

Здравствуй, Флоренция!

Флоренция – это музей под открытым небом, не говоря уже о множестве музеев под её древними черепичными крышами. Какое всё-таки это красивое слово – Флоренция, оно чем-то напоминает прихотливое растение с крупными

белыми и красными цветами, узкими изысканными листьями на упругих матовых стеблях, гордо устремлённых в небо. Имя города переводится как «цветущая», хотя по-итальянски звучит иначе, нежели по-русски: Фиренце. В гербе Флоренции – две алые лилии, разновидности ириса, на белом фоне в форме щита. Изначально лилии были белыми, но после победы гвельфов, приверженцев папского престола, над гибеллинами, сторонниками императорской власти, лилии преобразились и были перекрашены в алый цвет. До сих пор ежегодно во Флоренции проводится конкурс среди садоводов, в котором необходимо продемонстрировать цветок, наиболее соответствующий изображённому на городском гербе.

Скорый поезд «Евростар» уносил меня туда, во Флоренцию, в этот замечательный город, в один из самых красивейших и древнейших городов мира. А в широкие вагонные окна заглядывала солнечная Италия с её красивыми горами и цветными долинами, маленькими уютными городами и кудрявыми шелковистыми холмами.

Чем ближе я подъезжал к Флоренции, тем явственнее проступали в увиденных пейзажах черты живописной флорентийской школы маккьяйоли, названной так за свободную манеру письма, за сочные и выразительные цветовые пятна полотен, за присущие ей живые и выразительные сюжеты. И словно бы слышались в вагонном шуме слова великого флорентинца, автора «Декамерона», о прекрасной природе сво-

их родных мест:

Среди цветов и трав земного лона,
У светлого ручья, что чуть шумит,
И медленно влечёт волну у склона
Чечер-горы, с той стороны, где вид
На солнце в полдень, в выси небосклона
Лицом к лицу слепительный открыт...

О благодатной природе Италии можно говорить бесконечно и любая превосходная степень будет уместна, так пленительны и чудесны её пейзажи. Но и город, куда я прибыл, сказочная Флоренция, под стать местной природе. «Отчего ж сказочная, – возразит мне некто, не склонный к воображению и никогда не читавший Базиле и Страпаролы, Буццати и Родари. – Дома как дома, а люди как люди, живут и как везде заняты только своим, насущным». Не буду спорить с такой точкой зрения, возможно, она и имеет право на существование. Но мне, так давно мечтавшему увидеть Флоренцию, представлялось совершенно иное. Мне казалось, что её тесные улочки утратили весь нынешний хрупкий рекламный макияж и обнажили свою брутальную средневековую суть, тускло отсвечивая шершавой каменной кожей в глади мощёных мостовых. А навстречу, словно вышедшие из иллюминированных манускриптов или готических фресок, двигались мужчины в расшитых камзолах и женщины в длинных платьях и остроконечных головных уборах с воздушными

ми цветными пелеринками. Эти улочки выводили на неровные площади, окружённые зубчатыми смотровыми башнями горчичного цвета и нарядными фасадами дворцов, открывшими для меня все свои тяжёлые двери. Я проходил через них все дворцы и башни насквозь и выходил на громаздкие старинные мосты, изогнувшие свои массивные каменные спины над зелёной водой. Мосты были украшены многочисленными статуями и прилепившимися к ним скорняжными мастерскими, лавками жестянщиков и ювелиров. Небо, неспособное перекрасить бессильной лазурью цветущее русло своенравной реки, высыхало продольными бликами на горячей керамике оранжевых черепичных крыш и затекало в узкие жалюзи плотно закрытых оконных ставен. И на каком бы открытом месте я ни оказался, всегда передо мною возникал тяжёлый купол собора Санта Мария дель Фиоре, соединивший в себе черты позднего романского стиля и своеобразной тяжеловесной готики, характерной, пожалуй, только для Флоренции.

Собор горел на выбеленном зном небе насыщенной красной охрой, высоко поднимаясь над скученным городом, притягивая к себе взгляды и будоража воображение. Невольно я задумался, отчего ж известный герой Достоевского был вечно преследуем куполом Исааки-евского собора; может быть, оттого, что сам Фёдор Михайлович, живший неподалёку, в непосредственной близости с Собором Санта Мария дель Фиоре, всечасно находился под его величественной властью,

подчиняющей себе мысли и чувства писателя. Нечто похожее случилось и со мной. Собор возникал то здесь, то там, и, обходя его и наблюдая с разных ракурсов, я понял, что все улицы радиально сходятся туда, в центр, к Собору, к площади Святого Иоанна и ажурной башне Джотто, издали похожей на яркую фаянсовую статуэтку. Благодаря разным случайностям я кружил вокруг, дышал средневековой Флоренцией по примеру Чайковского, Бутурлина и Андрея Тарковского и медленно склонялся туда, к центру, подчиняясь неумолимой силе флорентийского притяжения, этому абсолютному закону центостремительного действия, неизбежно распространяющемуся на всех приезжих и путешествующих.

Флоренция. Центр притяжения

Считается, что между жителями Рима и Флоренции такая же разница, как между москвичами и петербуржцами. Убедиться в этом у меня не было возможности, но вот что я сразу заметил во Флоренции, так это отсутствие там современных «шарманщиков» – уличных музыкантов, ряженных, в одеждах кесарей и гладиаторов, певцов всех мастей и разнообразнейших живых скульптур, в недостатке которых сложно упрекнуть Вечный город. Не знаю, возможно, «шарманщиков» во Флоренции смущает теснота улиц, но только вот миму, в костюме белого клоуна, который устроил своё пред-

ставление прямо между палаццо Веккио и галереей Уффици, она нисколько не помешала. Народ толпился у гигантских скульптур Давида и Геркулеса, свисал с Лоджии Ланци, наблюдая за действиями артиста, его ловкими трюками, выразительной мимикой и красноречивыми жестами. Было заметно, что публике это нравилось, аплодисментов не было, но то внимание, с которым люди следили за выступающим, говорило о многом. Мим обладал исключительной пластикой и культурой движений, изображая различных людей, он полностью перевоплощался. Я подумал, что этого всего должно быть слишком много для уличного артиста, но вспомнив, что даже римские «шарманщики» поражали меня своим артистизмом, убедился воочию, что творчество для итальянцев – родная стихия.

Услышав у себя на родине рыдающую гармошку где-нибудь в переходе или на улице, я стараюсь держаться от неё как можно дальше, ибо непременно связываю с ней низкий социокультурный статус владельца и его незадавшуюся жизнь. Предположить горение искры Божией в таком человеке совершенно невозможно.

Итальянцам, действительно, нельзя отказать в таланте. У них он проявляется абсолютно во всём, даже в самой заурядной траттории спагетти вам приподнесут словно настоящий шедевр; я уже не говорю о вкусе поданного блюда, изящество и совершенство будет явлено и в его внешнем виде тоже. А у талантливых людей свой кодекс поведения, нельзя предста-

вить их толкающими друг друга локтями – самоутверждение за счёт других явно не в их правилах.

Тут никто не залезет перед тобой без очереди; автомобилисты, включая владельцев «Феррари» и «Мазерати», будут терпеливо ждать, пока какая-нибудь старушка не преодолеет проезжую часть, и никто грубо не схватит тебя за грудки, предполагая, что ты прорвался без билета. В Италии принято доверять друг другу, и местные жители этим доверием никогда не злоупотребляют. Здесь отсутствует до боли знакомая бесчисленная армия охранников и контролёров, но её недрёманное око не столь и востребовано – люди сами всё аккуратно оплачивают и соблюдают правила, принятые в том или ином месте. Всему этому у итальянцев необходимо бы поучиться, как в своё время мы учились у них живописи и ваянию, музыке и архитектуре.

Если опять вернуться к вопросу о параллелях между Флоренцией и Санкт-Петербургом, то кроме их подверженности разрушительным наводнениям, оба города побывали столицами, правда, Флоренция была таковой совсем недолго, что и дало ей возможность сохранить свой неповторимый облик. Флоренцию не успели испортить новациями, и она сумела обойтись без «перестройки»; правда, появились отдельные классицистические сооружения в центре, приличествующие её столичному статусу. Но их оказалось немного и они не смогли преобразить город, подобно тому, как преобразился отягощённый своим величием Париж в наполеоновские

времена. И в этом смысле Флоренция сильно отличается от Рима. Если в Риме многие здания постоянно перестраивались, став при папе Сиксте V почти полностью барочными, то во Флоренции существует лишь единственная барочная постройка. Вам её обязательно покажут, по какому бы экскурсионному маршруту вы ни пошли, благо она расположена в самом центре, прямо напротив здания городского суда.

Конечно, город – живой организм, и процесс его изменений и роста остановить невозможно. Но в истории Флоренции были периоды, когда всякое строительство было прекращено. Это случилось в 1348 году, когда чума выкосила десятки тысяч человек. Город почти опустел, а те, кто выжил, считали, что «нет более действенного средства уберечься от заразы, как спастись от неё бегством». Так писал Джованни Боккаччо, оставивший свои записки о «чёрной смерти» в предисловии к «Декамерону». Следы чумы сохранили и городские улицы: некоторые дома лишь частично выложены жёлтым песчаником, один или два этажа ещё принадлежат Средневековью, а надстроенное выше уже имеет признаки совсем иной эпохи. Но дух Средневековья всё же витает в городе, несмотря на то, что Флоренцию можно по праву считать колыбелью Возрождения. Когда ты идёшь по тесным улицам, у тебя имеется единственная возможность для того чтобы разглядывать здания – смотреть вверх, высоко запрокинув голову. Такой ракурс даёт совершенно неожиданные впечатления. Так, в первую очередь, в глаза бросаются де-

тали, а целое так и остаётся полупрочтённым. Впрочем, порой достаточно и деталей, тем более, что сумма частей никогда не равняется целому, а всегда значительно его превосходит. Имей я возможность отойти от здания на десятки шагов, мне никогда не представилась бы возможность разглядеть готические терракотовые орнаменты, посиневшее дерево кровельных перекрытий, кованые витиеватые консоли уличных фонарей и изъеденные зеленою грибкой края волнистой черепицы...

Сейчас здесь стою я, и вокруг меня снуют быстрые итальянцы и неспешные туристы. А некогда по этим улицам бродили весёлые ваганты и сумрачные сторонники Савонаролы, аристократы, владельцы родовых флорентийских башен, мастера и ремесленники, руками которых и создан этот великолепный город. Средневековое общество было очень неоднородно. Эпитет «мрачное» прилип к этому времени исключительно благодаря неутомимой деятельности таких теологов, как святой Бенедикт или папа Григорий I, считавший, что человеку совершенно ни к чему вся «тщета мирских знаний». В своих сочинениях он писал: «Какую пользу могут принести нам разъяснения грамматиков, которые способны скорее развратить нас, нежели наставить на путь истины? Чем могут помочь нам умствования философов Пифагора, Сократа, Платона и Аристотеля? Что дадут песни нечестивых – Гомера, Вергилия, Менандра – читающим их?» К счастью, в то время существовало и иное течение мысли, та-

кое, например, как традиция Кассиодора, утверждавшая становление светской культуры в обществе.

Не будь этой традиции, не было бы и эпохи Возрождения. Не было бы и таких её подвижников-флорентинцев как Микеланджело, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Гирландайо, Верроккьо, Данте, Боккаччо, Петрарка, Макиавелли, Галилей. И тысяч и тысяч других, известных широко и известных не очень.

Всякому туристу, оказавшемуся во Флоренции на день или два, я настоятельно рекомендую не тратить драгоценные часы пребывания здесь на толкучку у галерей Питти или Уффици, а просто подышать воздухом средневековой Флоренции, побродить по её мощёным улочкам и мостам, постоять на древних площадях и чаще смотреть вверх, в небо, туда, где смыкаются многовековые черепичные крыши. Обещаю, что вы никогда не забудете эту прогулку. А картины и скульптуры вы посмотрите потом, дома, для этого купите у местных книготорговцев альбомы о сокровищах флорентийских галерей и откройте их уже у себя на родине. А сейчас ходите пешком по древнему городу, впрочем, никак иначе по нему и невозможно передвигаться, разве что взять напрокат скутер или велосипед.

Нет другого места во всей Италии, где бы так близко сошлись две эпохи – Средневековья и Возрождения, спорили друг с другом и перекликались, и ничто не мешало им слышать и видеть друг друга. Посмотрите на флорентийские ко-

ричневые башни. Средневековые, они, ошетилившиеся изъеденной временем неровной каменной чешуёй, неприветливо рассматривают вас через вытянутые глубокие окна. Они просты, и память сразу же захватывает их целиком. Возрожденческие башни уходят далеко в небо, их украшают керамические ожерелья и балконы, которые тянутся по всему их периметру и очень напоминают изящные кружевные воротники. Эти башни запомнишь не сразу, то слева, то справа выпадет из памяти какая-нибудь стрельчатая арка или лёгкий замысловатый декор. Интересны даже крыши. Если внимательно на них посмотреть, то сравнительно легко угадать, какие трубы принадлежат Средневековью, а какие – эпохе Возрождения. Такими же красноречивыми будут и фасады зданий, и дверные проёмы, и оконные ниши.

И обязательно поднимитесь на башню Джотто. Да, ротонда собора Дуомо несколько выше, но и с башни вы увидите всю Флоренцию с высоты птичьего полёта и сумеете досконально рассмотреть Собор Санта Мария дель Фиоре, а для этого стоит преодолеть четыреста с лишним крутых башенных ступенек, винтообразно уходящих на верхнюю открытую площадку.

Собор Дуомо, притягивающий своим оранжевым куполом ваш взор со всех городских перспектив, вблизи кажется ещё более прекрасным и загадочным. Чем выше я забирался на башню и осматривал окружающее с её прямоугольных ярусов, расположенных один под другим, тем меньше верил в

материальность того, что представало перед моими глазами. Разумеется, меня поражал и сам город, с нижних площадей наблюдаемый на уровне верхних этажей, потом крыши, затем башен и колоколен близлежащих базилик, но когда дома и колокольни стали едва различимы, всё моё внимание было отдано только ему – собору Дуомо. Сверху собор казался ещё интереснее, нежели снизу. С площади не видны были тончайшие кружевные узоры, венчающие крышу; искусный каменный декор стен; поразительные, словно живые, барельефы ризалитов, невидимые никем и соприкасающиеся только с небом. Лишь отсюда можно было увидеть то, что обычно называют флорентийской мозаикой. Она выполняется из крупных природных камней, вырезанных по контурам предметов и изображений. Всё это предстаёт перед вами впервые, но создаётся ощущение, что нечто подобное уже хранится в вашей памяти. В детских книжках про злых королей и прекрасных принцесс, в фильмах про отважных рыцарей и страшных чудовищ вы, возможно, уже видели похожие сказочные замки, ослепительный блеск резного мрамора, замысловатые готические узоры, странные ниши на высоте птичьего полёта и многочисленные лестницы с воздушными парапетами.

Я стоял на самом верху башни Джотто и любовался уже не только всей Флоренцией, но и дальними горами и долинами, слегка подёрнутыми прозрачной вуалью знойного августовского воздуха. Здесь, где до неба можно легко дотя-

нута рукой, отчего-то кажется, что все люди, какая бы ни досталась им история, страна и религия, каким бы ни был их язык и обычаи, должны стремиться к такой же красоте и гармонии, так же раскрывать Божий дар своего таланта, присущего всем людям, но не всеми и не всегда правильно понятого, и пытаться достичь в нём такого же совершенства. И это будет тем общим делом, которое объединит всех нас. Это достойно стать тем смыслом, ради которого стоит трудиться и стоит жить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.